

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

Книга первая

Verlag "Partner"

2005



**Дорогие друзья – читатели
журнала русской литературы «Зарубежные записки»!**



Поздравляя вас с выходом первого номера, искренне желаю многих читательских радостей! На мой взгляд, ожидание этих радостей должно оправдаться. Во-первых, потому что редакционная коллегия журнала профессиональна и нацелена на публикации с высоким художественным качеством, а опыт издательства «Партнер», взявшего на себя все организационно-издательские проблемы, поможет достижению этой цели. Во-вторых, потому что целая группа уважаемых авторов – писателей с самой громкой репутацией уже оказала журналу поддержку и предоставила свои произведения.

Выход нового журнала – событие значительное! Он должен стать еще одним живым мостом, связующим читателей с русской культурой, русской литературой, идет ли речь о наших соотечественниках, живущих в России и за ее пределами, или о тех жителях европейских стран, которые своими духовными интересами или профессиональным призванием также связаны с русской литературой.

Не могу не выразить особое чувство, возникающее в связи с тем, что журнал выходит накануне такой для всех нас по-человечески важной даты, как 60-летие окончания Второй мировой войны! Тема эта – неисчерпаема. И можно предположить, что журнал и его авторы будут обращаться к ней не только в этом, первом, его выпуске.

Знаменательно и то, что «Зарубежные записки» выходят в Германии – в самом центре Европы! Русский журнал в Европе – это российский взгляд на Европу и европейский взгляд на Россию. Русский журнал в Европе – это еще один символ того, что мы все живем в одном европейском доме и все желаем этому дому мира и процветания! И в этом смысле издание берет на себя вполне определенную миссию.

Еще раз поздравляю вас, дорогие читатели, и желаю вам, вашему журналу и его авторам добрых успехов и ярких творческих открытий!

Генеральный консул Российской Федерации:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gerodes'.

Г. ГЕРОДЕС

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ПЕРВАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Даниил Чкония К читателю	2
Бахыт Кенжеев Так и бродим родимым краем... <i>Стихи</i>	4
Борис Хазанов Ксения. <i>Повесть</i>	10
Александр Радашкевич Я буду ветром... <i>Стихи</i>	34
Инна Лесовая Верочка. <i>Повесть</i>	40
Владимир Берязев Гипербореец обучал Гомера... <i>Стихи</i>	70
Владимир Шубин Тень, бегущая по обочине. <i>Рассказ</i>	74
Чингиз Айтматов Убить – не убить... <i>Рассказ</i>	90
Людмила Агеева Из рассказов о правилах игры. <i>Рассказ</i>	101
Александр Мелихов Том обид на пути к общей сказке. <i>Публицистика</i>	116
Илья Мильштейн Мессия, которого мы потеряли. <i>Публицистика</i>	135
Книжная полка – Рецензии	142
Коротко об авторах	147

апрель
2005

Дорогие читатели!

Перед вами первая книга журнала русской литературы «Зарубежные записки».

Издание его замышлялось давно, идея обсуждалась в русскоязычной прессе Германии читателями и литераторами, активно ее поддержавшими. А инициатором выпуска журнала выступило издательство «Партнер», приступившее к осуществлению этой идеи.

Особенно хочется отметить роль Генерального консульства Российской Федерации в Бонне и Генерального консула Георгия Александровича Геродеса лично за всестороннюю поддержку, без которой начало издания оказалось бы невозможным или, по меньшей мере, значительно осложнилось!

История издания различного рода русских литературных журналов, альманахов, сборников в эмиграции началась не в XX веке (вспомним «Колокол» Герцена) и исчисляется сотнями названий. Эмигрантские издания начала прошлого века представляют собой огромный пласт русской литературы, выброшенный из России революцией. Катаклизмы двадцатого века, мировая война, послевоенное диссидентское движение привели к тому, что и к концу столетия за пределами бывшего СССР оказалось и живет поныне немало литераторов, к которым после распада советской империи присоединились писатели так называемой четвертой волны эмиграции. Сама же русскоязычная диаспора составляет миллионы людей, среди которых немало тех, чья духовная связь с русской культурой не прерывается. Да и наша молодежь, успешно интегрируясь в новой стране проживания, стремится сохранить связь с родным языком и культурой. Особенно остро этот вопрос стоит в Германии, русскоязычная диаспора которой самая многочисленная в Европе, где сегодня живут десятки прозаиков и поэтов, чье творчество – вот парадокс! – хорошо знакомо читателям в России, а русским читателям, живущим здесь, оказывается неизвестным.

Жизнь сегодняшней России небезразлична большинству людей, оказавшихся за рубежами страны в силу различных обстоятельств. В то же время, в творчестве живущих в Европе русских писателей звучит и тема самой России, и тема русской жизни в эмиграции. Идет процесс художественного освоения сегодняшних российских реалий, с одной стороны, и духовных поисков русскоязычных эмигрантов, с другой.

В этих обстоятельствах журнал, издаваемый в Германии, может привлечь внимание авторов и читателей, сохраняющих духовную связь с Родиной не только в Европе, но и на всем постсоветском пространстве. Это взгляд на Россию, на Европу, на мир из самой Европы, независимо от того, где живет автор публикуемого произведения. Что и отражено в названии журнала «Зарубежные записки».

Для нас знаменательно, что журнал выходит в свет именно теперь – в дни, когда отмечается 60-летие окончания Второй мировой войны! Дата эта никого из нас не может оставить равнодушным, где бы мы с вами и в каких обстоятельствах ни находились. Рядом с нами живут и помнят пережитое наши ветераны, представители поколения, которое непосредственно испытало весь ужас и все тяготы страшного времени. Как те, чьей кровью политы поля Европы, так и те, кто, жертвуя всем, в тяжелейших обстоятельствах трудились в тылу. Генетическая память о прошлом тревожит и будет тревожить еще не одно поколение людей. Трагедия этой эпохи снова и снова требует осмысления, в том числе – осмысления художественного. Память и боль, правда и совесть возвращают многих писателей к неизбывной теме, и каждый решает ее по-своему. В сегодняшней книжке журнала тема эта звучит в повести одного из лучших прозаиков современности Бориса Хазанова. Неожиданным оказывается

взгляд на нравственные проблемы человека, брошенного в горнило бесчеловечной войны, именитого писателя Чингиза Айтматова.

Издание журнала рассчитано на широкий круг читателей, которым интересен сегодняшний литературный процесс. А процесс этот за последние два десятилетия получил свое развитие. Вырвались из литературного подполья новые имена, направления, школы. Раскованно работали писатели, чье творчество не раскрывалось в полной мере во времена засилья идеологической цензуры. И, наоборот, некоторые авторы, навязываемые раньше в качестве непререкаемых авторитетов, ушли на периферию литературной жизни, а то и вовсе выпали из нее.

Редакционная коллегия журнала не намерена, как уже было сказано, ограничивать географическое представительство авторов. Тем более, мы не будем вводить какие-либо жанровые ограничения или затевать войну литературных школ и направлений. Наряду с серьезной традиционной прозой и поэзией, публицистикой, критикой, эссеистикой найдется место и сочинениям иного толка. Хорошо написанный детектив, остроумный сатирический рассказ, живые, талантливо воплощенные мемуары, постмодернистский опус или авангардистское стихотворение, наконец, переводное произведение, где проявляется не только писательский уровень автора, но и художественное дарование переводчика, – публикация всякого рода должна быть оправдана в глазах читателя своим высоким литературным уровнем. Мы уверены, что это встретит одобрение и поддержку читателей, для которых журнал и должен издаваться!

Даниил ЧКОНИЯ, главный редактор

ТАК И БРОДИМ РОДИМЫМ КРАЕМ...

* * *

Вечером первого января запрещенный табачный дым
вьется под небелёным, под потолком моего жилища.

Холодно, и засыпать пора. На бумаге я был одним,
а по жизни, кто спорит, глупее, зато и проще, и чище.
Пыльные стекла оконные подрагивают под новогодним ветром,
колокольные языки качаются, и оставшиеся в живых
мирно посапывают во сне – опаленном, не слишком светлом,
но глубоком и беззащитном. Пес сторожевой притих

в конуре, постылую цепь обмотав вокруг правой передней лапы.
Брат его кот, вылитый сфинкс, отмахивается от невидимых мух,
снежных, должно быть. Неприкаянная, неправедная, могла бы,
как говорится, сложиться удачнее, но уже, похоже, потух
желтый огонь светофора на тушинском перекрестке. Се,
отвлекаясь от книги лже-мудреца, над электрической плиткой грея
пальцы, подливаю случайного в восьмигранный стакан. Осе
или пчеле, сладкоежкам, спокон веков ясно, что немолодое время

совершенно не зря сочтется по капле, когда на дворе темно,
высыхая, воспламеняясь, дыша – полусладкое, недорогое.
Снег идет. Плачет старик. И пускай на крестинах оно одно,
в одиночестве – близко к тому, а на поминках совсем другое
обучись – коль уж другого нет – обходиться этим вином,
чтобы под старость, не лицедействуя, и уже без страха
и стыда поглощать растворенный в нем
невесомый яд, возбудитель праха.

* * *

Славный рынок, богатый, как все говорят –
рыбный ряд, овощной, да асфальтовый ряд –
и брюхатый бокал, и стакан расписной,
и шевелится слизень на шляпке грибной,
а скатёрки желты, и оливки черны,
и старьевщик поет предвоенные сны,
наклоняясь над миром, как гаснущий день –
и растет на земле моя серая тень.

Так растет осознавший свою немоту –
он родился с серебряной ложкой во рту,
он родился в сорочке, он музыку вброд
перейдет, и поэтому вряд ли умрет –
перебродит, подобно ночному вину,
погробенному в почве льняному зерну,

и взглянув в небеса светлым, жестким ростком
замычит, как теленок перед мясником.

* * *

Лгут пророки, мудрствуют ясновидцы,
хироманты и прочие рудознатцы.
Если кто-то будущего боится,
то они, как правило, и боятся.
Смертный! перестань львом пустынным рыкать,
изнывая утром в тоске острожной
по грядущей ночи. Беду накликай,
рот раззявив глупый, неосторожный,
в наши дни, ей-ей, ничего не стоит,
и в иные дни, и в иные годы.
Что тебя, пришибленный, беспокоит?
Головная боль? Или огонь свободы?
Не гоняй и ты по пустому блюдцу
наливное яблочко – погляди как,
не оглядываясь, облака несутся,
посмотри, как в дивных просторах диких
успокоившись на высокой ноте,
словно дура-мачеха их простила,
спят, сопя, безропотные светила,
никогда не слышавшие о Гёте.

* * *

Должно быть, я был от рождения лох,
знай грезил о славе, не пробуя малым
довольствоваться, памятуя, что плох
солдат, не мечтающий стать генералом.
Но где генералы отважные от
российской словесности? Где вы, и кто вам
в чистилище, там, где и дрозд не поет,
ночное чело увенчает сосновым
венком? Никаких золотых эполет.
Убогий народ – сочинители эти.
Ехидный Лермонтов, прижимистый Фет,
расстроенный Блок, в промерзшей карете
из фляжки глотающий крепкую дрянь
(опять сорвалось, размышляет, тоскуя),
при всей репутации, бедный, и впрямь
один возвращающийся на Морскую...
Да что, если честно, накоплено впрок
и вашим покорным? Ушла, отсвистела.
Один неувоенный в детстве урок,
губная гармошка, да грешное тело.
Как будто и цель дорогая близка –
но сталь проржавела, и в мраморе трещина:
Что делать, учитель? Твои облака
куда тяжелее, чем было обещано...

* * *

Вот гениальное кино,
к несчастью, снятое давно –
июльский дождь, и черно-белый
пейзаж Москвы оцепенелой,
сиротской, жалкой, роковой...
Не над такую ли Москвой,
когда снежит, когда озябли
гвардейцы у ворот Кремля,
и мерзнет черная земля,
неспешно реют дирижабли?
Не здесь ли дворник-понятой,
певец гармонии святой,
считает перед сном до сотни,
не здесь ли ёжится щенок
и юркий черный воронок

вдруг тормозит у подворотни?
Нет, не тревожся. Этот кин
хоть посвящен, да не таким
угрюмым снам. Былые страхи
ушли, настал ракетный век,
и незадачливый генсек,
вспотев в нейлоновой рубаше,
о светлом будущем поет.
Кондуктор сдачу выдает,
троллейбус синий обгоняет
прохожего. Бассейн «Москва»
исходит паром. Деревя
бульвара дремлют, и не знают
грядущего...

* * *

После пьянки в смоленской землянке –
рядовым, а не спецпоселенцем –
Дэзик Кауфман в потертой ушанке
курит «Приму» у входа в Освенцим.
Керосинка. Сгоревшая гренка.
Зарифмованным голосом мглистым
несравненная Анна Горенко
шлет проклятье империалистам.
«Нет, режим у нас все-таки свинский.»
«Но и борькин романчик – прескверный».
Честный Слуцкий и мудрый Сельвинский
«Жигулевское» пьют у цистерны.
И, брезгливо косясь на парашу,
кое-как примостившись у стенки,
тихо кушает пшеничную кашу
постаревший подросток Савенко.
Штык надежен, а пуля – дура.
Так и бродим родимым краем,
чтя российскую литературу –
а другой, к сожалению, не знаем.
А другой, к сожалению, не смеем.
Так держаться – металлом усталым.
Так бежать – за воздушным ли змеем,
за вечерним ли облаком алым...

* * *

Позеленевший бронзовый жеребенок – талисман умолкнувшего этруска
узким косится глазом. Ненавязчивый луч солнца сквозь занавеску
напоминает, что жизнь – это тропинка в гору, только без спуска,
сколько в ней плеска и придорожной пыли, и сколько блеска!
Не сплит, но отчетливо греет. Алый воздушный змей над лужайкой
реет, и щербатый мальчишка за ним бежит, хохоча от избытка

счастья. Дед его на веранде, отвернувшись, млеет с улыбкой жалкой над потрескавшимися фотографиями, тонированными сепией. Нитка следует за иглой, а та – за перебором пальцев по струнам незаконнорожденной русской гитары, за готическим скрипом половиц на втором этаже, когда уже поздно любоваться лунным светом. Хорошо, уверяют, жить несъедобным океанским рыбам в тесной стае, на глубоководье. Бревенчатый дом моего детства продается на слом. За овальным столом, под оранжевым абажуром, сгинувшим на помойке, три или четыре тени, страшась оглядеться, пьют свой грузинский чай с эклерами. Осенний буран желтым и бурым покрывает садовый участок, малину, рябину, переспелый крыжовник. Да и сам я – сходная тень, давно уже издержавшаяся в напряженных голосах подводной вселенной, где, испаряясь в печали тайной, на садовом столе исчезает влажный след от рюмки, от гусь-хрустальной.

* * *

Зима грядет, а мы с нее особых льгот не требуем, помимо легкомыслия под влажным, важным небом и хочется скукожиться от зависти постыдной то к юношеской рожице, то к птице стреловидной. Все пауки да паузы, веревочка в кармашке – у помрачневшей Яузы ни рыбки, ни ромашки не выпросить, не вымолить, не прикупить, хоть тресни. У старой чайки выбор есть, ей, верно, интересней орать, чем мне – дурачиться, отшельничать во имя музыки, да собачиться с красавицами злыми. О чем мой ангел молится под окнами больницы? И хочется, и колется на снежную страницу лечь строчкой неразборчивой к исходу русской ночи – а лёд неразговорчивый рыхл, удручен, непрочен и молча своды низкие над сталинским ампиром обмениваются записками с похмельным дольным миром.

* * *

Вьется туча – что конь карфагенских кровей.
В предвечерней калине трещит соловей,
беззаботно твердя: «все едино»,
и земля – только дымный, нетопленный дом,
где с начала времен меж грехом и стыдом
не найти золотой середины.
Светлячков дети ловят, в коробку кладут.
Гаснет жук, а костер не залит, не задут.
Льется пламя из лунного глаза.
И вступает апостол в сгоревший костёл,
словно молча ложится к хирургу на стол,
поглотать веселящего газа.

Но витийствовать – стыд, а предчувствовать – грех;
так, почти ничего не умея,

мертвый мальчик, грызущий мускатный орех,
 в черно-сахарном пепле Помпеи
 то ли в радости скалится, то ли в тоске,
 перетлевшая лира в бескровной руке
 (ты ведь веруешь в истину эту?
 ты гуляешь развалинами, смеясь?
 ты роняешь монетку в фонтанную грязь?
 Слезы с потом, как надо поэту –
 льешь?) Какие сухие, бессонные сны –
 звонок череп олений, а дёсны красны –
 на базальтовой снятся подушке?
 Раб мой Божий – в ногах недостроенный
 корабль, и непролитое молоко –
 серой патиной в глиняной кружке.

* * *

То нахмурившись свысока, то ненароком всхлипывая, предчувствуя землю эту,
 я – чего лукавить! – хотел бы еще пожить, пошуметь, погулять по свету,
 потому-то дождливыми вечерами, настоя зверобоя приняв, как водится,
 с неиссякающей жадной надеждою к утомленной просьбами Богородице
 обращаюсь прискорбно – виноват, дескать, прости-помилуй, и все такое.
 Подари мне, заюшка, сколько можешь, воли, а захлебнусь – немножко покоя.

Хорошо перед сном, смеясь, полистать Чернышевского или Шишкова,
 разогнать облака, обнажить небосвод, переосмыслить лик его окаянный.
 Распустивши светлые волосы, поднимись, Пречистая Дева, со дна морского,
 чтобы грешника отпоить небогатой смесью пустыряника с валерьяной.
 Хороша дотошная наша жизнь, средоточие виноватой любви, непокорности
 и позора,
 лишь бы только не шил мне мокрого дела беспощадный начальник хора.

* * *

Сносился в зажигалке газовой,
 пластмассовой и одноразовой,
 кремень – но отчего-то жалко
 выбрасывать. С лучами первого
 декабрьского солнца серого
 верчу я дуру-зажигалку

в руках, уставясь на брандмауэр
 в окне. Здесь мрачный Шопенгауэр
 нет, лучше вдохновенный Нитче
 к готическому сну немецкому
 готовясь, долгому, недетскому,
 увидел бы резон для притчи,

но я и сам такую выстрою,
 сравнив кремень с Господней искрою,
 и жалкий корпус – с перстью брэнной.

А что до газового топлива
 в нем все межзвездное утоплено,
 утеплено, и у вселенной

нет столь прискорбной ситуации...
 Эй, публика, а где овации?
 Бодягу эту излагая,
 зачем я вижу смысл мистический
 в том, что от плитки электрической
 прикуриваю, обжигая

ресницы? А в небесном Йемене
 идут бои. Осталось времени
 совсем чуть-чуть, и жалость гложет
 не к идиотскому приборчику
 к полуночному разговорчику,
 к любви – и кончиться не может...

* * *

Упрекай меня, обличай, завидуи,
исходи отчаяньем и обидой,
презираи, как я себя презираю,
потому что света не выбираю –
предан влажной, необъяснимой вере,
темно-синей смеси любви и горя,
что плывет в глазах и двоится стерео-
фотографией северного ночного моря.
Что в руках у Мойры – ножницы или спицы?
Это случай ясный, к тому же довольно старый.
Перед майским дождиком жизнь ложится
разноцветным мелом на тротуары.
Как любил я детские эти каракули!
Сколько раз, протекая сиреневым захолустьем,
обнимались волны речные, плакали
на пути меж истоком и дальним устьем!
Сколько легких подёнок эта вода вскормила!
Устремленный в сердце, проходит мимо
нож, и кто-то с ладьи за пожаром мира
наблюдает, словно Нерон – за пожаром Рима.

* * *

Затыкай небеленою ватой уши, веки ладонью прикрыв,
погружаешься в семидесятые – словно ивовый, рыжий обрыв
под ногами. Без роду и племени? Что ты, милый. Хлебни и вдохни –
как в машине бесследного времени приводные грохочут ремни
из советского кожзаменителя! Хору струнных не слышно конца.
Путешествие на любителя – ненавистника – внука – глупца.

В дерматиновом кресле, где газовой бормашинкой бормочет мотор
недосмазанный, бейся, досказывай, доноси свой взволнованный вздор
до изменника и паралитика. Нелегко? Индевеет десна?
Жизнь когда-то из космоса вытекла, говорят, весела и вольна,
и свои озирала владения – и низринутых в гости звала,
и до самого грехопадения языка не высовывала

из дупла запрещенной черешни. Это выдумка, сказка, Бог с ней.
Если страшен сей мир – смрадный, грешный – то исчезнувший – много
тесней.

Главспирттрестовской водкой до одури – повторю в обезвоженный час –
горлопаны, наставники, лодыри, Боже, как я скучаю без вас!
Ах, зима, коротышка, изменница! Есть на всякий яд антидот –
кроме времени, разумеется. Но и это, и это пройдет.

КСЕНИЯ

Ночь с субботы на воскресенье

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечатала и разослала приглашения. В программе Шуман, трёхчастная фантазия C-Dur, op. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Se n'est pas rien*.¹

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес – собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своём чёрном платье с кружевами и воланами, бледно-лиловая причёска, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет – не просто боязнь потерять благосклонность публики. Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого нисколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переворачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз прорепетировали всю вещь, я знал её назубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжёлым чувством я останавливаюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю

¹ Это кое-что значит (*фр.*).

винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король стоял с флейтой, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали mots, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, – с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахивают клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

Продолжение. 3 часа ночи

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А всё-таки – почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после Kopfsatz.² Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда было лето в разгаре, июль... Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dur-ную фантазию. Кто играл, теперь уже невозможно вспомнить...

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпиграф, – сказал полковник. – Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». – «Для той, кто ему внимает», – подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с бреющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

11 час. вечера, воскресенье

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свериться. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг при-

² Первой части.

нялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в коленкоровых переплётках не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдётся издатель – только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год: двадцать четвёртого июля (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша цель – мост у Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подождённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из ржи, совсем близко, бой перепела – высокий металлический звук, слегка приглушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает – снабжение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днём монотонный ляг гусениц, гранадёры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, подставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледно-лиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать километров, – мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихожей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнатке рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, ветер истории, который веет на нас со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, – увы, – скомпрометированные понятия. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной, спит и видит сны – о чём? О том, что он когда-нибудь проснётся и протрёт глаза?..

Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr, zu seiner Zeit.³

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn⁴ с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею основания

³ Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок он вернётся, и с ним вернётся блеск его державы. (Из баллады Фр. Рюккерта).

⁴ Сосуд для питья в форме рога.

полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, – ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, – присоединил бы к своему баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее, такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе. С Франциской мы учились в Салеме, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше). Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншпиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», – а какие, собственно, вопросы?

С воскресенья на понедельник

«Устала, сил нет, – сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта). – Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

«Знаешь, – проговорил я, – мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чём я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе..., – сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. – Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

«Нет, – сказал я, – это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...»

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

Вечером в понедельник

Распорядок дня безнадежно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц⁵ считал спанье привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Мы рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших знаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас злобещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь – как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, угрюмое потрескивание – степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейтенантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов. XIV корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдём с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы – излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, – Сталинград...

Ночь с понедельника на вторник, 2 часа

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лубкович, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы – давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платице с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола – это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье – отец Франциски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на

⁵ Фридрих II Прусский.

птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, – Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели – это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салемской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, в самом начале войны пропал без вести. Офицер с Железным крестом – фрейгер⁶ фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

Я спросил – почему-то он мне вспомнился – кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

«М-м?» – отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересует?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, – скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно.

Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут..., – я не мог разобрать его имени. – Извините...»

«Что Вам угодно?»

«Я здесь проездом», – сказал он.

«Na und?»⁷

«Я был на Вашем вечере».

Голос с американским акцентом – Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...» – сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить Вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её, спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я Вас слушаю», – сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншпиль».

Поздно вечером, вторник

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинуясь этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути между

⁶ Барон.

⁷ Ну и что.

перелесками, спящими вечным сном хуторами, деревнями с непрременной церковкой почти кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве. Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нём разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окружённому кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обер-гофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некой даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он называл её Беттлиз.⁸ Любимец муз просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отправился к праотцам, и ему носили еду из дворцовой кухни.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с прапраправнуком ландграфа Филиппа. «Я, – сказал он, – хочу сделать то, что вовремя не было сделано». – «Und das wäre?»⁹ – «Вызвать тебя на дуэль!» – «Я готов к услугам», – ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдотцы, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, сами того не замечая, разговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тезки.¹⁰ Король не любил военную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста – два моих двоюродных деда, погибших в Первую мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница – моя бабка, померанская княжна: взбалмошная особа, сумевшая восстановить против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно

⁸ Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

⁹ А именно?

¹⁰ То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.

рисовавшимся в потёмках письменным столом – с выдвинутым нижним ящиком – были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетётся мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, – чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

Около полуночи

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса – три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу – две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле – Острогжск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi».¹¹ И всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль *petites madeïnes*¹² сыграл этот злполучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определённно представлялось закрытой главой жизни, – подобно тому, как сдают в архив судебное дело, – приходится поднимать сызнова, как говорят юристы, «в виду вновь открывшихся обстоятельств».

¹¹ Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.)

¹² Бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».

Среда

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци – моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци – типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели – отлично помню – в полусосвещённой гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было полночь. Большой спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, – сказала она. – Мы оба должны понять... Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», – возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же ублюдков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, – сказала она, – не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, – сказал я. – Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» – сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté.¹³ Посидим ещё немножко».

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канапе и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, – проговорила она, садясь рядом со мной. – Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

¹³ Так решено? Решено (фр.).

«Куда?» – спросил я.

«Куда-нибудь далеко. – Она встала. – Но имей в виду...»

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отказались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе – я чуть не сказал, в позировании – было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильнее её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.

Третий час ночи с четверга на пятницу

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было бороться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn.¹⁴ Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помня взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свидание; как вдруг сзади раздался его голос с англо-саксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», – по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсиль-

¹⁴ Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.

вании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, – сказал он. – А что Вы играли?»

Вздыхнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!

Он пробормотал:

«Германия – очень музыкальная страна».

«Чего нельзя сказать об Америке?» – съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», – сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве это называлось *Kreisel*. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

Пятница, после полуночи

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду – другое.

Ужасный случай, – здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или – что кажется мне сейчас правдоподобней – оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов – партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнёмёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на

голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому – говорю это с полным основанием – плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике – краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, – мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округа, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика – не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые всё больше распространялись – и в конце концов подтвердились! – о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?

Июль сорок второго года. Острогжск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, коньяк отрезвляет, – но лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

Ночь, продолжение

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, – говорит майор, – так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», – сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), ему и так известно, надо лишь удостовериться.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами: «Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину опорожнённую. Наливает полстакана: пей.

Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, тёмной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, – говорит он, – вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик – балтийский немец, худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...», – говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, – «ну-ка, повтори», – говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожить, как вшей, вот увидите, мы вам ещё покажем, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, – ждёт моего кивка. Я тоже вне себя. Ну раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчика выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

Седьмой час, перед рассветом

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», – а это был ни много ни мало, как стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», – ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на ис-

торию. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим). С другой стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем всё это кончилось. Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий – уничтожить на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё ещё в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага – большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Осталось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы завоюем страну. После чего мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекаладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад обгорелых печных труб – всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками орудийного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство общей судьбы – у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой – ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы – азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А – у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взяли Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди – необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта. Группа Б тем временем с боями

овладела Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений – к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, – Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и тогда. Октябрь, 27-е: в парной бане. Русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов; мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

В чём дело? Нам казалось – ещё двести, ещё сто метров, и мы прорвёмся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию, и – дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и в конце концов дрались на своей земле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике – от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, поистине утешающую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

17 час., пятница

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лубковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём концерте. Она была ещё достаточно бодра. Ей было под 90. Сухоньякая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку,

князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen
 Der zu dir so glühend eilt,
 Und die Seufzer, sie verwehen
 In dem Raume, der uns teilt.¹⁵

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

«Знаете ли Вы, – сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожавших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, – знаете ли Вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, – сказал я. – Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что Вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его Bursche,¹⁶ секретарша уговорила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» – спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У неё были дети?»

«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»

«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?»

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

23 часа.

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня

¹⁵ Тебя не достигнет мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас.

¹⁶ Денщик.

трусом. Но одно дело стоять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое – подвалы гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенки в Плецензее, где и сейчас ещё висят крюки на потолке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, насколько я знаю, – может быть, и сам полковник Штауфенберг, – отнюдь не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было спасти, – мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок третьем, то хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход – убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю об одном и том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всём.

Второй час ночи с пятницы на субботу.

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось – стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, так называемыми «органами», сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, – значит, всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел – неизвестно; мне было ясно, что он сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру

щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольдштрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались расово-полноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, – спросил я, – войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда немцы ушли из города – откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», – пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, – сказал я. – Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, но другого выхода не было».

«А её родители?»

«Они остались».

«Вы.., то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»

«Пожалуйста», – он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже, конечно. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

Суббота, 18 час.

Мне пришлось остановиться – не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повеваает; зябко, неуютно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Виттих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое

будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфо-разработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же – он это сразу почувствовал – интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, – не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Никаких сомнений тут быть не может: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине всё, что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился – уж это-то, по крайней мере, известно наверняка – в марте 1943 года. Не позднее, чем в августе, германская армия покинула этот район (Харьков был окончательно сдан 28-го). Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугодя. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «устовка». Оказывается, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, – сказал он, – где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Даже якобы не знали, что там работали эти самые устовки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя отправили в приют?»

Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы всё ещё сидели в Английском саду.

«Ты не договорил», – сказал я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя я сам заговорил.

«Вэл, – сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искажённую). – Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход – круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Станный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце – согласился бы я, окажись я на его месте?

«Вы правильно выразились, – сказал он. – Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Сын женщины, которую вы бросили на произвол судьбы». Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военно-служащие имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он ответил, что в конце концов установил, кто была хозяйка фермы. Её звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну и...» – он пожал плечами.

«Что? что?» – спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил:

«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

Час ночи. Два часа ночи.

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности – то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН.¹⁷ Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Врял ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

Воскресный вечер

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замёрзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи – как много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наступающих войск была

¹⁷ Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).

разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб.

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гириями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит на огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в Первую мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

Ночь, продолжение

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видеоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — всё решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

3 часа

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией, в первую зиму русского

похода, с тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как вождь пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Ах, мне поистине повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титул способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и кажется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как разум подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать. Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере, чтобы двинуться с войском на Восток... Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте, чтобы мы шли и шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и обер-лейтенант W. озаботился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Всё это нужно было — для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

Перед рассветом

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето остановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — всё отошло, всё это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались только женщины, не работали. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее, первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу – разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. По-видимому, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта иконка в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, – но теперь разговор шёл уже по-немецки, – в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня – завтра мне предстояло покинуть городок. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение – иначе не могу это назвать – сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это наступит. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен буду целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на западе в бледно-лиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пленой туч. На западе, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь война – это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошлась взад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы

я отошёл в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я уже знал, что она хочет искупаться. С определённой целью, с намерением, которое было вполне понятно ей самой и которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, подняв руки, в воду, я успел увидеть её узкую талию и начало ягодич. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксюша...», – сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёгиваюсь. Загораются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории – этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён тишиной, тяжёлый дорожный автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Присев на колени, он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя – не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть не могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, – весь этот бред – есть именно бред и ничего больше, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Её шаги.

Я БУДУ ВЕТРОМ...

* * *

Ну, здравствуй, серый град, где та же
гряда барочная петровских облачков,
балетный Ленин на Московском и те
же хохмы хмурых богатеев, и та же
одурь вымокших юнцов, где ту же
слякотную жижу пустые тени вяло
месяц с бутылкою насущною в руке, и
лица те же всё свинцовой в провалах
эскалаторной реки. Ты снова по душе
и не по силам снова, бессмертник
каменный, заплаканной душе. Ну,
здравствуй и прощай: глядит в окно уже
дорога огней чужих, и тёплые ключи
сжимают пальцы в пропасти кармана.
Живи, чем жив. Слыви, чем слыл. Спасай,
чем спас. И снись. И помни прошлым
парком обо мне, когда сойдутся статуи
продрогшие молчать у бьющего пургой
в беззвёздный свод фонтана.

Х.2002. СПб.

ПАНИ МАРИЯ

Со шкварками лепёшки пекла в дорогу
соседке, что их не любила за кроны лишние,
метраж и просто так, как любят не любить
другого. А ночью снова «скорую» звала для пана
своего, не старого ещё, хватавшего по-рыбы
шахтёрским лиловатым ртом какой-то свой,
увёртливый и тощий воздух и толковавшего
уж наяву с братишками своими, с четырьмя,
что мятной юности вослед давно отвековали.
Потом садилась в плюшевое кресло у мытого
окна за старое напрасное вязанье, на всякой
петельке, на каждом узелке шепча «за что?»
всё ласковей и тише.

А у реки, под мельницей,
всю ночь тяжёлый гул и веет свежее
незримою мукой у дверцы низенькой, куда
в века благочестивые чуть свет входил
палач неспавший. С понурой радостью
уже снуёт восставший из сбитых ласками
хрустящих простыней умытый чешский люд

меж новым капищем, пивною и вокзалом,
где улочка последняя, У Божей Матки,
уводит тополями от тополей за снежные поля
и ангелов в пуховых рукавицах, и демонов
в железных сапогах, пока шипят на старой
сковородке со шкварками душистые лепёшки.

2004. Богемия

НУ ВОТ

Ну вот и откружили, тётя Лида, вы свой Большой, свой
чёрно-белый вальс: и брови хвостиком мышинным, и губы
в три лепестка, под Чио-Чио-сан, и Сталин на медальях
дяди Коли. Теперь не поменять мне стёртую руслановским
отчаяньем иголку, чтоб ворковал фокстрот послевоенный
трофейно-ресторанно-беломорно: *Я вас любила в тот
прощальный вечер – за вашу нежную любовь к другой.*

Что ж, офицерская жена, под «Брызги шампанского»,
«Челиту», «Мишку» и «Манон» пари в единственном
зелёном шёлковом забытом платье, мерцая белым бисером
по лифу над вихрем юбки солнце-клёш, – над светом, тьмою
окатившим, недобрым миром, пленом и войной. Всё это,
тётя Лида, понарошку, и кто-то задом наперёд подставил
нам морской бинокль: я никогда не буду маленьким, а вы
не станете большой. Скрипит паркет, как в Доме офицеров,
звонит труба соседских похорон, а в летних лагерях под
гору

с мамой

наперегонки

бежите вы,

расплёскивая вёдра,

из той страны, которой нет, в страну, которой не бывало.

2004. Париж

ВАРИАЦИИ ВРЕМЕНИ

I

Он выплывает (но откуда?), он отплывает
(но куда?) день, как отжившая жемчужина,
налитая пропавшим молоком. Под ноги
стелется его папирусная музыка, и капает
за шиворот упорно безмолвие его небес,
беззначных как захоронье.

Как околевшего
галчонка, его никто не отогреет в немеющих
от нежности и ужаса руках. Ни памяти
простуженной, ни вычурной надежды
в день несмыканья отлучённых дней,

рассыпанных всей пушкинской янтарною
моршкой по ноздреватому чернеющему льду.

II

Нисходит срок пустого знания: черёмух
цвет в зияющей плывёт голубизне, где
ты да я – древесное воспоминание всех
приготовленных заранее, обутых, выбритых,
отглаженных, всех напыливших и нагадивших
и, как воркуют впрок предания,
всех заблудившихся в себе.

На этот свет, на эту тьму в апреля день, по Божьим
умыслам, тридцатый, в три по
полудни явился, помнишь, я в пылящем Оренбурге
и нежно вымолвил : му-му.

Ещё поём. Уже не страшно. Не ждём и
любим. Больно и ненастно.

Нисходит срок пустого чаянья: черёмух
цвет переплывает из светотени в светотьму.

III

Ещё вчера плескался в солнце, а ныне
вздулись, помутнели волны. Ещё вчера
ты ничего не видел, а ныне сердце гулкое
расплещет всю музыку звенящую безмолвья.
Как белый червь, слепой и голый, ещё вчера
ты вождеделел, скучал и ненавидел, а ныне

всё в одном, одно во всём – до самого
скончания нескончаемых начал и от начала
всех окончаний безначальных, и стелется
струистый ветерок по разлинованным листам
за всякой вящей запятой, как этот вздох и тот.
Под круглою иконой неба вечерний долгий человек.

2004. Богемия

ЧАЙ

Чай должен быть крепким и
сладким. Жизнь – ломкой
и подслеповатой. Небо
пустым и высоким. Горе
набухшим и чёрным. Сердце
пугливым и громким. Радость
солёной и краткой. Родина
детской и дальней. Вечер
последним и влажным. Песня
напрасной и пьяной. Долгой
и горной – дорога. Прошлой и

вешней – любовь. Память же
крепкой и сладкой, как наш
заутренний, душистый,
как наш с тобой горячий чай.

Х.2002. Богемия

КЕНЖЕЕВУ – ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

*Среди пречудных при ясном солнце ночи
Верхи золотых зыбей пловцам сверкают в очи.
Ломоносов*

Благое время удивленья, его простыл
медвяный след, мой брат Бахыт.
Увечно солнце зимних дней, и птахи
плачут в тонких клетях, тогда как
верится – поют. Что прошло, ни за что
не настанет; что настанет, и впрямь
всё равно. И должно жить без ожидания,
как ждали, вскользь и вкривь живя,
и доплывать по хлябям хладнодушья до
острова, где череп пропылённый наш
давно желтеет в мировой костнице
с последним именем и крестиком на лбу.
«А ведь сгниёт!» – взвивался Ваня
Бунин, хватая за руку холёную себя.

В чреде невольников того, что мнилось,
любовников того, что не сошлось,
на шатком трапе поминаний хлебнём
же шквала под ветхим небом – небом
непременным, как ты съязвил, и,
раздирая нетленные ризы, и, колыхаясь
в проявленном мире, исковеркаем
сызнава пряную душу, чтобы взяла
охота стихотворить на скользких тропах
мироздания, где мы, прижав к плечу
котомочку пустую, бредём доверчиво,
всегда по краю, мой брат Бахыт.
Мы были завтра, помнишь? Обещаю,
мы будем. Будем и вчера.

2004. Богемия

ПОРТРЕТ В ЛАНДШАФТЕ – ВЛАДИМИРУ БЕРЯЗЕВУ (из цикла «СИБИРСКИЙ РЕЛИКВАРИЙ»)

Чем ближе от тебя, тем дальше, зимний брат, к тебе
тропа змеится над обрывом, тем шире видится
позёмкой пепельно взметающая гладь и тем,
и тем вернее клинопись звериных юрких лазов

дерзнувшего заводит вспять, к безвылазной засеке.
У Навны-узницы храним клубок оледенелый сей.

Мерцают под нелёгким веком предвечных рек-озёр
младенческие души, но ближе чем, тем ледовитей,
тем таёжней то лихо белое, лихое то сиротство,
тем ярче теплится, дрожит колючею звездой
на гулком дне, на лунном тле твой трепетный
костёр, тоскою волчьей проколовший бельма ночи.

В резной незримый реликварий легла апрельская
Сибирь. В сновиденных моих чертогах за дышащей
завесой ты в чёрном зеркале забытой анфилады
стоишь бессменно с пернатою надломленной стрелой
в роландовой груди, и кровь ветвится из ушей: ты
так трубил в ущелии своим – над тьмою сарацинов.

2004. Богемия

ОБ ЭТОМ

Очень об этом думает. И додумалась...

Из письма

Ты можешь вчуже взлетать с астральными орлами,
вцепившись в непрявленные лапы, и падать-падать,
разбиваясь в прах, ломая крестец и радужную выю,
и варежку сухую сердца в яйце хрустальном разместить,
среди бабочек и упырей, на валком алтаре библиотек,
чтоб душными полётными ночами когорта обантованных
девиц лила над ним святую слизь, чтобы юнцы в пост-
байроновских блузах вздыхали ястребино над парусом
растерзанным твоим, пока не спросит некто деловито:
но кто же? где? когда? и как? и с кем?
и с кем? и с кем?

Ты можешь дёргаться, теряя шлёпанцы,
в елабужской петле, оставив лопнувший пирог
обуглиться в духовке, иль корчиться на окровавленном
снегу, прижав батистовый платок к своей зияющей
хрестоматийной ране; сдыхать в лесу вонючих нар от
голода, мечты, блатных плевков иль уж оставить свой
разношенный, залатанный, измызганный морщинистый
скафандр под треснувшей плитой иль стоя, как Шатобриан,
и вымывать сто лет полы, жуя амброзию, как лист алойный,
в каком-нибудь сиятельном синклите, но глянет вяло
там, в тартарах, со ртутно бегающим глазом Вия
некто и пустит длинную слюну на письма, карточки
и дневники, и третью премию, осклабясь, получит за:
но с кем же? кто? когда? и где?
и как? и как? и как?

2004. Богемия

Я БУДУ ВЕТРОМ...

* * *

Я буду ветром, несущим в чужедальних взорах
птицу над той чернеющей горой, пронзённой
сокровенным огоньком. Я взрею алой птицей,
несомой ветром в ту волглую лесную глубину,
напечатлённую лобзаньем холодеющим
заката. Я встану той набухшею дооблачной
горой, которой горбится осенняя душа
под сарабандой повечерних вздохов.

Я буду ветром, птицей и горой, дождём слепым,
смывающим меня, закатом, канувшим в глухую
синь, и даже – криком окон
одиноких, но только не
наскучившим себе скучающим собой
в нерукотворностях подоблачных
твоих, мой нежно
равнодушный Боже.

2003. Богемия

ВЕРОЧКА

На мысль о Верочке меня наводит хрупкий лесной цветок, за что-то получивший нескладное имя, которое не хочется повторять, – нежные белые точки, снежинки, зацепившиеся в сырой лесной тени... Среди невидимой паутины и тончайших трав, только изредка, солнечным взблеском выдающих свое бестелесное существование. Здесь, должно быть, стояла Снегурочка... и печальный, отрадный выдох усталости, предчувствующей скорый конец, опустился и замер в зеленом сиянии утреннего леса. Конец... Покой...

Нет. Верочка на Снегурочку не похожа. Разве что смирением. Тайным знанием о себе чего-то... Впрочем... Да. И смирение было совсем другое. Верочкино смирение – опущенные глаза и стянутые гордостью виски. Верочка была некрасива.

Оленька, Ольга Васильевна, как-то сказала мне, что у Веры Вячеславны есть давние фотографии – и детские, и юношеские, но она их не любит и не показывает никому. И действительно, когда много лет спустя Вера Вячеславна достала из комода четыре альбома и еще небольшую коробочку с фотографиями, среди них не оказалось ни одной, где она была бы моложе пятидесяти лет. Она охотно помогала мне выбрать нужные. Ее почти не удивило то, что я хочу писать эту картину. Кажется, даже довольна была.

– Сейчас я найду, есть одна... Племянник сделал... Он во ВГИКе учится...

Было странно слышать от нее слово “ВГИК”, и потом еще она вспомнила о какой-то родственнице своей, Кате, о муже ее, который “впоследствии стал большим начальником”.

Жаль, что я тогда не разговорила ее. То есть она рассказала много – о Татьяне Леонтьевне, о Кирилле и его жене... Тогда-то я и узнала, что Кирилл ей не племянник, а всего лишь сын подруги, Аннушкин сын. “Всего лишь” – здесь не подходит. Аннушка была нежнейшим другом. Она умерла в пятьдесят лет. От кровоизлияния в мозг. А у Кирилла давление 190 на 100... Он очень боится инсульта... Ему бы ребенка хоть до школы дотянуть. Она показывает мне Рыжика в ванночке, Рыжика в манеже, Рыжика в шубке. Рыжика с Кириллом. Совсем старый Кирилл. Похож на деда. И любит ребенка надрывно и умиленно, как обычно любят внуков. У Кирилла есть и внуки. Двое. Но он их не знает. Так Леночка мстит ему за то, что он оставил их с матерью ради молоденькой бездарной студентки.

Чувствуется, что Леночка уже совсем чужая Вере Вячеславне. Но она ее не осуждает. Ведь это так понятно... Тем более, что Леночкина мать умерла через год после развода. Но кто знал?

Да если бы и знал... Разве мог устоять Кирилл Викторович, краснолицый, белобровый преподаватель, от которого лучшие ученики уходят, разбегаются, начиная с третьего курса? Пишут заявления к Черновой, к Эйдельману, даже к Рамазанову – совсем уж непонятно! Рамазанов такой же исполнительный и неудачливый педагог, раз в год дающий сольный концерт. Бесплатно. В Доме учителя. Афиши – за свой счет. К третьему курсу и Джемма разобралась бы во всем этом. И в том, что Кирилл Викторович простоват, и в том, что музыкант он бескрылый, а на концерты его приходят родственники, все еще видящие в

Кирюшеньке вундеркинда. “Такой милый! Скромный какой! А техника-то! Техника! Прямо не верится! Кажется, недавно... в коротеньких штанишках...” И цветы, цветы... Джемма не успела разобраться, от кого цветы...

Она ничего особого не предпринимала, но уперлась в своем каменном, истеричном нетерпении стать женой педагога, пианиста, “практически молодого”.

Джемма... Когда моя сестренка была маленькая и два раза в год приходила к Вере Вячеславне сдавать “экзамен”, по всей комнате были развешены, расставлены фотографии Джеммы, такие же неуместные, как стоящая на этажерке моя собственная фотография с сестренкой. Я не любила эту фотографию. Она казалась мне искусственной, потому что я сама была еще ребенком...

Мы с сестрой стоим на тумбе, рядом, за руки. И обе симметрично приподнимаем уголком подола коротеньких белых платьиц. Мне восемь лет. Я улыбаюсь, покорная непонятной взрослой причуде. Моя сестренка улыбается старательно, старательно тянет подол, подражая мне. Ей третий год. Она почти лысая. Огромный бант укреплен на голове с помощью нитки... “Две сестрички! – тихо и горячо восхищалась Вера Вячеславна. – Две сестрички!” Она несколько раз в течение урока доставала карточку из сумки и снова благодарила маму, и почти не засыпала, пока сестренка играла Черни.

И раз, и два, и три, и четыре – и...

Она меня чем-то утомляла. Может быть, неуместностью... Во всех ее ужимках и словах мне мерещилась допотопность, от которой в нашей тесной комнате становилось совсем тесно. Ее крахмальная вежливость натывалась на все наши раскладушки и чемоданы...

Но какой гибкой и ловкой она оказывалась среди своей собственной тесноты! Тут уж неуместными были мы. В небольшой ее комнате, с высокими узкими окнами, мучительно узкими и высокими, с вечной путаницей тенистых темных цветов на подоконнике...

И сразу включали лампу – низкий абажур чуть не касался стола, ярко высвечивая белую скатерть в центре комнаты, а углы так и оставались в полумраке. Малиново-серый полумрак таил золотистые лики икон, лампадку за ширмой, узколицую женщину с мальчиком, военного, похожего на царя, даму в саду на лавке, девушку в шляпе под деревом (эта была попроще, и я посматривала на нее, ища поддержки). Солнечные блики плыли по ее лицу и платью... Мне казалось, что я когда-то встречала ее. Остальные выглядели строгими, как статуи, будто не было вокруг них ни солнца, ни деревьев, ни даже просто воздуха, и картон фотографий был строго пожелтевший и сухой. “Потому что они – аристократы”, – думала я.

Я испытывала к ним что-то такое... смесь восхищения и враждебности. Но враждебность рождалась не во мне, это был ответ на их презрение. Они не замечали меня, смотрели сквозь меня, потому что я – еврейка. Я говорила себе: ведь это – фотографии... они не видят меня... и все же почему-то я видела в них живых! Может, виной всему был этот самый густой и ощутимый, как вода, полумрак, он наделял жизнью каждый затерявшийся в нем предмет. Затерявшийся в тесноте, во множестве других предметов: рамок, лиц, засохших пыльных цветов, лиц, рамок, треснувших вазочек, надбитых статуэток, засохших цветов, замерших в колючем напряжении или, наоборот, усохших в покорности, с поникшими шеями... так увядают розы – розы, которые сникают сразу, как только их вносят в дом с жары или с холода... но они не теряют лепестков. И я думала, что в этой комнате собрана вся ее жизнь, все цветы, которые ей дарили в жизни, потому что, когда мы приносили цветы, их никогда не ставили на место увядших. Извлекали из неразличимых дебрей на этажерке, на пианино еще одну замысловатую вазочку с отбитой ручкой и...

“Оленька, будь добра!”

И наши цветы вливались в полумрак, отделялись от нас, хотя... Нет, временами и мы вливались, но не сами, а только наши прозрачные платица на кружевных чехлах, как ангельские облачка в оборках... и локоны, и белые банты. И все восхищались нами.

Из кра-ая в край
Впе-ре-од и-и-ду
И мой сурок со мно-о-ю...

Нет. Пожалуй, временами, и мы... Я даже переставала чувствовать себя собою, это не мой был голос, не мои банты, не моя сестра. Играла девочка, маленькая, а другая пела – “Подайте грошик нам, друзья...” – старую песенку, из прошедшего детства. И становилось страшно застрять случайно, увязнуть там, в прошлом, и голос дрожал испуганно на верхних нотках – “нам за-автра сно-ова в путь пора” – даже обязательно! Мы никак не можем остаться! Нам надо к себе, по выбитой досуха дороге, вперед, вверх на монотонно набирающих высоту аккордах... Раз – два – три, раз – два – три. Смешные цыплячи пальчики, мокрые от волнения и случайно передающие печальную и покорную натугу этой ходьбы...

“Верочка, голубчик, обрати внимание на левую руку. Она очень низко опускает кисть. Может...”

А вообще-то мы всем нравились. Сестренке всегда ставили “пять”. Меня тоже за что-то хвалили, и все смотрели, ласково шурясь, не то издали, не то в даль... Что-то там видели... локоны, оборки... Нас? Не нас? Может, и нас? Сестренка, во всяком случае, чувствовала себя совершенно естественно. Брала со стола конфеты, пила чай, расхаживала по комнате, заглядывая во все углы, пока другие дети играли свои этюды, сонатины, ригодоны. И, бросив безмятежный взгляд на сконфуженного папу, снова оборачивалась к стене и разглядывала фотографии, и засохшие цветы, и надбитые статуэтки. Выпятив от увлечения круглый животик и по забывчивости ковыряя в носу... Будто так и надо. Будто все для того и развесили, чтобы она смотрела. А для чего же тогда? Ни для чего. Эти вещи, эти люди, эти цветы жили тут. Доживали в густом полумраке свой девятнадцатый век...

“Очень хорошая девочка! И играет хорошо, и нарядная, только вот папу не слушает. Не может посидеть спокойно полчаса...”

“Что ты, Иринushка! – Вера Вячеславна мягко, но горячо бросалась на защиту. – Она же совсем маленькая! Ей нет еще и шести! Она, Иринushка, просто росленькая такая!” – и сразу утихала, успокоенная, переводила взгляд с одной на другую. “Две сестрички!” – “Ах, ну раз так, тогда...” И я тоже успокаивалась, хотя сама-то и не оправдывала сестру. Пусть бы ей и всего четыре года было! Разве не ясно, что за ширму заглядывать нельзя? Если бы можно, зачем тогда ставить ширму? Да. Но себя я осуждала еще строже. Я тоже заглядывала. Но все-таки украдкой! Не стояла, вытаращась прямо в лицо сердитому богу Веры Вячеславны. Их там, за ширмой, было три. И все сердитые. Сердились, конечно, на меня. Разве стала бы Вера Вячеславна держать их над своей кроватью, если бы они и на нее так же жестоко и холодно глядели? Конечно, нет. Это я была чужая, враждебная – и русский бог меня не любил. Ему не нравилось, что я смотрю, и я быстро отводила глаза, притянутые таинственным золотистым светом. Конечно, лицо его менялось. Да я и сама видела это не раз своими глазами! Почему у меня не было своего бога, который мог бы меня защитить?! Лицом в лицо упереться с этим, неприступным! Все были против меня! Даже вазоны на окнах! Даже чай! Даже портреты Джеммы на стенах! Джеммы, нахально демонстрирующей свою “старинную” красоту. Так говорили старушки – подруги

Веры Вячеславны. “Старинная красота”. А с их мнением все очень считались. Они были “в высшей степени интеллигентные и образованные женщины”. Так говорили мои родители и родители других детей. И еще! Одна из них приходилась тетушкой самому Рихтеру. Я долго не знала, какая именно, потому что стеснялась поднять глаза.

Тетушкой оказалась Ольга Васильевна, Оленька. Не уточнялось, какова там степень родства. Я ни разу не слышала, чтобы Рихтер их навещал. Впрочем, они бывали на всех его концертах. Впрочем, они на всех концертах бывали. Я встречала их непременно... Но это уже позднее. А в то время для меня не было разницы между Рихтером и Кириллом Викторовичем.

Кирилл Викторович приезжал в наш город каждый год. И это был самый ответственный экзамен для учеников Веры Вячеславны. Кирилл Викторович слушал, делал замечания, Вера Вячеславна советовалась с ним. Когда мама рекомендовала кому-нибудь Веру Вячеславну, она говорила: “Раз в году ее учеников прослушивает преподаватель Ленинградской консерватории Алексеев.” И еще... Но и об этом позднее...

Кажется, в первый раз Кирилл приезжал с Леночкой. Должно быть, это она сидела со мной рядом, за столом, и нам обеим, хоть мы и не играли, дали “призы”: маленькую чашечку с тонким рисунком и шоколадную конфету с приклеенным к обертке плюшевым зайчиком. Где только Вера Вячеславна доставала эти замысловатые и трогательные мелочи?! Я увидела этих зайчиков и почувствовала, что просто не смогу дальше жить без такого! Я страшно, отчаянно пожалела, что не стала учиться музыке, и тут – мне протянули зайчика. Не знаю, кто: я не решилась поднять глаза. “Это тебе за то, что ты хорошо поешь...” И тут же – Вера Вячеславна: “А как она рисует! Такая, право, умница! Жалко, что альбом не захватила! Обязательно возьми в следующий раз!” Про стихи она ничего не сказала. Заметила, как багровеет от стеснения мое лицо? Забыла? Сначала я обрадовалась, потом огорчилась. Я знала, что ей не могут нравиться мои стихи. Она их читала вежливо и вежливо хвалила... В “Советском человеке” исправила ошибку...

Я гордилась своими стихами, но ни за что не стала бы читать их в этой комнате. Особенно то, самое удачное: про пионерку, которая “чуть что взывает к богу”. Саркастическое! гневное стихотворение. В котором я клеймила... себя. Но это была тайна.

Я целый год ждала следующего экзамена, я решила поговорить с девочкой из Ленинграда, с Леночкой, но Леночки больше не было, а появились новенькие – как лаковые! – фотографии Джеммы. И много говорилось о Джемме, какая она красивая, красавица, красавица!.. И над дверью висел большой портрет женщины в платье с большим вырезом, с напряженно повернутой к плечу головой, ее шея – от затылка до плеча – была проведена одной линией, на затылке – пышный гладкий узел, а с виска, через щеку вниз, спиральки-завитки. Собственно, и я находила ее красивой. И даже очень красивой. Но мне казалось, что им, им всем она не должна нравиться! И даже точно – не нравится! Но они скрывают и потому-то навешали, наставили... Ну а если навешали потому, что она им нравится как раз?! Ведь мне же нравится! Нравится... А, может, и нет! Выгнула шею! тоже мне – графиня! Вовсе и нет! Притворяется. Чужая она этой комнате и этому богу, хоть и... своя...

Может, все дело было в слове. Джемма... Слово было романтическое... Не хуже, чем Анжелика – любимое имя в нашем дворе. Подруга Овода – Джемма... Оно еще напоминало слово “джем”, и кудряшки стекали по лицу, тягучие, сладкие и шершавые, как клубничный джем. Или я просто приревновала: прежде хвалили меня, обо мне говорили “старинная итальянская красота”, а теперь хвалили Джемму. Принято было непрерывно хвалить Джемму... И я злорадно лелеяла в

памяти сорвавшееся у Лидии Михайловны замечание. “Я рада, что это ожерелье ей так понравилось, но она надевает его поверх свитера! Как это можно? И вообще должна вам сказать: после семнадцатого года я перестала что-либо понимать.” – “Семнадцатый год тут ни при чем, – тихо рассмеялась ей в ответ Вера Вячеславна. – Это двадцатый век”.

Двадцатый век... Я тоже не понимала, почему так плохо надевать ожерелье поверх свитера.

При чем здесь это? Вся эта суета... Но ведь она – часть Верочкиной жизни? Или нет? Это какой-то поверхностный сюжет ее жизни, клубок разговоров и событий, из которого я всегда выделяла ее нетронутой, замкнутой и сосредоточенной. Как травинка в лесу. Она неподвижно собралась в себе, тонкая до незаметности, как зеленая волосинка земли, дыбом поднявшаяся от благоговения. Высокая, высокая, выше человеческого роста! бестелесная, чудом несущая свой колосок вверх, вверх.

* * *

И еще зимой... В самом начале зимы, когда однажды серой тончайшей коркой возьмется поверхность лужи перед домом, и кажется – тронешь ее – и она прогнется или пленкой, пенкой потянется за пальцем, но она не поддается, а хрустнув беззвучно, сдвигается, стасовывается плоскими стеклянными осколками-картами, картами, не дающимися в руки, она не выносит прикосновения... Когда такое было? Не помню. Давно. А вдруг взошло, ощутимо и ясно, и захотелось писать о Верочке. Почему-то представилось: узкий носок ботиночка, туго и высоко зашнурованного... вот так... раздумчиво и бес-смысленно коснулся ледяной незримой корки и непоправимо стронул ее... И еще мерещилась тень гимназиста... он что-то не успел высказать, досказать ей или себе самому... и пошел провожать ее... и все говорит, иногда останавливая на ней чуть недоумевающий взгляд: кто это? ах, она... “Я некрасива”, – покорно говорит себе Верочка. Сейчас он выложит, построит, окончательно утвердится в своей мысли – и уйдет... Точно так же он говорил бы с деревьями и статуями, задавая вопросы и не дожидаясь ответов. Точно так же недоуменно останавливал бы на них взгляд, на секунду, без тепла и интереса... “Я некрасива!” – вскрикивает про себя Верочка. И давно следовало бы попрощаться и уйти в дом, но она все стоит, опустив глаза и высоко подняв длинные бесцветные брови... И раздумчиво касается примерзшей лужи узеньким носком ботинка... Внезапно он теряет нить разговора и вглядывается в скуластое широколобое лицо с длинными губами, напряженно сомкнутыми в каком-то вдохновенном и гордом смирении... Так о чем же он? о чем шла речь? Ах, да! Вот о чем!

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась. Скользили, вытесняя друг друга, голубые и коричневые валы. Я все думала о Верочке, о ее юности, прошедшей здесь, существующей дымком, следом, трепетом, настигшим и преследующим меня непрерывно. На улице – за темным окном, за шершавым кружевом мороза, схватившего стекло... И хрустящее кружево рубашки на угловатом худом плече, на жестко выпирающих ключицах, и тонкую золотую нитку на шее, плоское, плотное прикосновение крестика к груди я ощущала, ощущала реально, ее рукой отводила занавеску и вглядывалась в серо-синий морозный мрак... Гимназист уже давно ушел, но она все смотрела туда, где он прежде стоял, и разглядывала его глубокими своими глазами из-под тяжелого старческого лба... Он не нравился ей, но она все смотрела и все повторяла и внушала себе: “Я некрасива. Я некрасива...” Повторяла и не верила, потому что слишком красивы были эта серо-синяя ночь, занавеска и холодная луна, странно высветившая беглые контуры облаков.

Я угадала ее лицо. Я увидела ее – ту, так что даже не стремилась больше найти ее фотографию. Должно быть, ее старались приукрасить. Мать, подруги, сестра. Старались по-особому завить, взбить, уложить непослушные волосы. Навсегда блекло-русые: Верочка не поседела. Так и осталось: русые, прямые, тонкие, но не гладкие волосы. Она закалывала их сзади в узел, а спереди они упорно и жестко высыпались на лоб, на вмятины висков... Она стыдилась себя – и от этого сутулилась, от этого держалась с мужчинами сухо, хотя, я думаю, она могла и нравиться. Но, видно, тогда еще решила для себя, что смысл ее жизни – дружба. В дружбе она была преданна, порывиста и даже сентиментальна, но подруги одна за другой влюблялись, выходили замуж, и ей оставались края, задворки чужого счастья и несчастья, и, наверное, тогда ее длинные губы обрели свою гримасу, свое неповторимое выражение: трогательная готовность к умилению – в треугольном мыске верхней губы, – и от него смелый разлет линий – будто начавшаяся улыбка, начавшаяся, но... вдруг... не изломавшаяся разом, а плавно опавшая, достойная и гордая, как размах птичьих крыльев, далекий силуэт чайки... чайка... “Чайка”... разбитая, несостоявшаяся жизнь. Ей суждена была прекрасная старость! Старость, не избавленная ни от одной из своих тягот, но естественная, как старость дня, дерева, травы... Старость, которая, должно быть, больше всего пугала когда-то ее ясный и трезвый ум... Ей суждена была... И может, поэтому ее старость началась так рано? Ей было немногим более пятидесяти лет, а она выглядела глубокой старухой. Или так казалось мне?

Мне было девять, когда я ее увидела впервые, и с тех пор многие женщины помолодели в моих глазах. Но тут, думаю, было не то. Я ясно помню ее сгорбленную фигурку, старообразную шубу и пуховую детскую шапочку на голове... Если уж говорить правду, я испытывала тогда тяжелое чувство страдающей гадливости. Да и потом мне всегда было стыдно, когда она завязывала под подбородком длинные уши своей серенькой пуховой шапочки, на вид такой же ветхой и невесомой, как вся она, ее кожа, ее сладковатый сухой запах, впалые щеки, грудной голос, не способный набрать силу даже при крайней взволнованности. Да. Вся она казалась мне ветхой... и напоминала о смерти, о мертвецах. Не знаю, чем. Может, этими-то впалыми щеками, виска-ми, впалой грудью, впалыми глазами, с усилием выглядывающими из коричнево-паутиных теней... Она как бы и не видела ничего вокруг, ничего, кроме того, что ее касалось. Проходила через нашу тесно заставленную комнату прямо к пианино... За столом гости – мамы земляки из Каменец-Подольского – ели разогретое жаркое с картошкой, дядя Володя Кринер “пил стопку”, его старый китель висел на месте рыжей шубы. И мама убирала виновато китель, возмущенно бряцающий орденами, и шуба садилась на стул, трижды со-гнувшись, а поверх нее – ложилась шапка и детский же шарфик.

“Ровнее спинку, деточка! Начнем с Ганона”. И – засыпала...

“Вы знаете, – восхищался папа, – она спит весь урок, но обратите внимание: как только ребенок делает ошибку – она тут же проснется!”

“Я обязательно посмотрю на следующий раз!” – радостно подхватывал при-соловевший дядя Володя, давая таким образом понять, что до пятницы – точно не уедет. А может, просто искренне заинтересовавшись? Глазки его лучились четвертушечным блеском, а четвертушка стояла пустая на окне. К следующему приходу Веры Вячеславны их было там много. Дядя Володя и его сын спали на диване. Мама очень мучилась от неловкости, но Вера Вячеславна тихо прошла на свое место. “Начнем, детка, с Ганона”...

Потом, когда мама объясняла, что дядя Володя жил с ней на одной улице и что семья у них была замечательная, но все погибли, а он вот стал пить, хотя вообще-то добрейший человек и шесть раз был ранен... кажется, Вера Вячеславна ничего не понимала, но со всей горячностью своей безголосой

доброты повторяла: “Конечно! Конечно!” Я думаю, она просто не заметила дядю Володю... Очень ценное качество для человека, с утра до вечера переходящего из дома в дом – “из края в край...” – в коммунальные лабиринты, в щербатые подвалы... “и мой суро-ок со мно-ою”... В то время все вдруг стали учить детей музыке. Хуже-лучше, но люди успели обзавестись пальто и буфетом, вилками и тарелками. Пальто покупалось лет на десять, буфет – на всю жизнь. И – была не была, знай наших! – следующей, самой серьезной покупкой становилось пианино. “Украина” или ветхое немецкое... “Чем мои дети хуже? Пусть учатся!” Хуже – кого? Должно быть, “старой интеллигенции”. Этим самым старушечек, над которыми посмеивались. Передразнивали и... хотели быть “не хуже”.

“Старые барыньки” выходили откуда-то из глубин старых домов в каких-то черных балахончиках, в нелепо-вычурных шляпках, которые находили приличными, очевидно, в силу их ветхости, с черными сумками, свисающими почти до земли, потому что, как правило, старушки были маленькими и сгорбленными и опирались крошечными лапками на черную клюку. Вот так... Все эти вещи казались еще старше их самих; иногда в обтертом бархате ленты, в осыпавшемся бисере кошелька угадывались следы былой роскоши, былой, особой, красивой и неведомой жизни, от которой остались лишь лоскутья да вечный аромат, сладкий аромат шелка, или пудры, или... Ах! Да просто аромат высохшего до бестелесности тела, запах чистой старости, зяблый и мягкий, который соседи, стоящие у парадного, принимали за запах старинных духов. И странно было, как удалось сохранить им эти духи: ведь прошло столько лет, такая война! И странно было: как они пережили эту войну, хрупкие и неуместные, беззащитные, как ночные бабочки... А чем они перебивались сейчас? Куда разбрелись с утра, неторопливо, но решительно, маленькие и согнутые, с черными палками и вязаными сумками, свисающими до земли? Учить музыке детей? Молиться в церкви за умерших родных? Ведь были же когда-то и у них родные?! Не верилось... Но, в самом деле, не появились же они прямо вот такими, ссохшимися, крошечными в какой-то неведомой “богадельне”, где, по моему детскому представлению, бог делал одиноких людей и куда эти люди впоследствии должны были вернуться, хотя очень не хотели возвращаться. “Не задавай идиотских вопросов!” – сердились взрослые, сердились, ибо все, что доставалось их оскорбленному любопытству – была доброжелательная, короткая улыбка и вежливый кивок.

Здесь крылось несуразное раздвоение: жалкие и беспомощные, они должны бы заискивать, даже бояться! Ведь наверняка в их прошлом было что-то... враждебное и чужое нынешней жизни. Об этом строили догадки, выделявали друг перед другом понимающие судейские мины: дескать, пусть уже доживают эксплуататорши, старые чучела... Но и враждебность, и издевки были напускными. На самом деле соседи, по-хозяйски лузгающие семечки и обсуждающие последние новости под парадной дверью дома, скандальные и бойкие молодухи, пожилые всезнающие “хозяйки”, томящиеся от безделья инвалиды – все они пасовали перед этой доброжелательной, но непроницаемой улыбкой, все они чувствовали, как сродни эти черные семянные фигурки городу, его высоким стенам с отсыревшей лепниной, его булыжным мостовым! И каждый ощущал, ясно или неясно, как чужероден здесь он сам, как не принимает его задумчивый и отрешенный воздух этих переулков, и как растворяются они в возвышенном молчании старого города и тихо впускают, вбирают их темные подъезды, укрывают древние кроны деревьев, и безносые атланты привычно взирают на увядшие шляпки, на черные балахончики, обвисающие с узеньких круглых спин... И, тяжело хлопнув за ними, массивная дверь бережно и строго укрывала от посторонних тайный мир, где они становились говорливы и сентиментальны, в меру сил своих деятельны, варили помадку, крахмалили воротнички, доживали свой девятнадцатый век...

“Оленька? Алло! Олюсенька! Это я, голубчик! Это я говорю...”

Мне было суждено заглянуть в их мир изнутри и снаружи. И вот что странно: порой казалось, что, появляясь среди нас, в наших домах, среди наших вещей и проблем, они замыкаются, не желая выказать свое пренебрежение, а, может, и презрение к нашей простоте; мне мерещилась неискренность в их растерянном добродушии. А то вдруг становилось совершенно ясно, что они просто-напросто нелепые и бестолковые обломки, случайно откатившиеся сюда и только благодаря своей слепой, улиточьей глупости способные продолжать существование...

“Кто??? Да я же! Я! Верусенька-дорогусенька! Да. Да, Оленька. Пришла. Да. Да. Еще позвоню, позвоню”.

Я не хотела слышать. Я заходила от отвращения. “Верусенька-дорогусенька!” Надо же! “Дорогусенька!” Я пугалась собственного отвращения и старалась как-нибудь подавить его. Забыть? Не получалось, раз уж слышала... Почему-то рада была, что, кроме меня, никто не слышит. Но что, собственно, страшного? Ну... Может, это сказка была такая, про двух подружек... послушные девочки: Олюсенька-пусенька и... Или так они называли друг друга где-нибудь в гимназии? Пылкие девочки в фартучках, с бантами... Но тут не было ни дымки иронии... Они вообще, кажется, были неспособны на иронию. Даже по отношению к нам, с нашими скверными манерами, спешкой, криком, зарождающимся комфортом нового времени, кривым и убого-претенциозным “модерном”... Крайней формой неодобрения было удивление. Такое особое удивление, с невысоко поднятыми бровями и теряющим выражение ртом... Я не выносила на себе такой взгляд и, может, поэтому отказалась заниматься музыкой после первых же двух уроков. Я сразу поняла, что чего-то мне тут не хватает... Дело не в слухе, не в пальцах, не в понятливости. Вера Вячеславна переоценила эти мои качества... Я не осилила тяготины начала, глупость первых пьесок ошеломила меня, это была не музыка, а дурацкое щелканье на печатной машинке, которое вдобавок мне неблестяще давалось. Вера Вячеславна поднимала и даже напрягала брови. “Что же ты, детка, право?! Ведь, кажется, на слух... пусть ты плохо играешь песни Грига, но ведь всегда понятно, что ты играешь, а тут...”

В том-то и дело было: “тут”. Я не улавливала мелодии этих “фитюлек”, а Вера Вячеславна почему-то ничего не объяснила мне толком... Очевидно, мое бойкое брэнчанье “на слух” ввело ее в заблуждение настолько, что она не рассказала мне даже о тактах, и я каждый такт играла отдельно, через паузу... Короче... Короче: я предпочла оставаться “умницей” и “голубчиком”, показывая свои рисунки, фигурки из пластилина... И я по-прежнему пела на “экзаменах”. “Ты пря-а-лоч-ка мо-я-а...” – Вера Вячеславна сама подобрала слова к пьеске Чайковского. Это было французское стихотворение, и она его достаточно ловко перевела.

“Ты пря-а-лоч-ка-мо-я-аа...” У меня выступали слезы от глубокой и нежной печали этой мелодии, от чувства единения: ведь мой голос... это все-таки была я! а не кто-то другой в белом оборчатом платице... Это мой голос дрожал в желтом раструбе света и уплывал в коричневые углы, глядящие множеством глаз, на мгновение утративших свою строгость, пробирался среди цветов, слабо звенящих лепестками, увядшими полвека назад. А может даже, он просачивался на улицу сквозь густую и жесткую листву вазонов, спутавшуюся и разросшуюся так, чтобы навсегда удержать эту комнату в наступившем полумраке, уберечь от уличного любопытства слабый свет, тлеющий внутри. И голова моя кружилась от мысли о прохожем, который приостановился под высоким узким окном и вслушивается в ускользящую мелодию, неясную и мягкую, как этот запах, который все принимали за запах старинных духов... И мне казалось, что сами

они знают об этом прохожем, чувствуют его присутствие за окном, и он объединяет нас еще теснее в это единое, в эту комнату, где чопорные родители ревниво следят глазами за каждым движением своих уставших от темноты и послушания малышей, где маленькая девочка с локонами играет песенку Чайковского, а большая девочка с локонами поет "ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Нет! Ну какие прелестные дети! Эти две – самые лучшие!" – "Мурильо!" – "Действительно, Мурильо!" – "Две сестрички! две сестрички..." И они смотрят на нас все сразу, Вера Вячеславна и Ольга Васильевна, и подруга ее Наташенька, и Анна Николаевна, и те две, которых никто не знает по имени, и та, что пришла сюда впервые, седенькая, с черной косыночкой, затейливо вывязанной вокруг головки... И еще кто-то в самом углу. Они смотрят на нас, откинувшись на спинки кресел, или наоборот, подавшись вперед, чтобы лучше слышать... Но есть у них какое-то общее движение, отчего-то слово "соратники" идет на ум, и все это напоминает какую-то картину... Апостолы? Где я видела ее? Да нигде! Здесь же, зимой, в прошлый раз... Или есть такая среди многих голландских, где сидят рядом, широко по горизонтали и смотрят испытующе на зрителя... "Попечительницы ордена"... Вечные лица – и имена, затерявшиеся во времени...

Олюсенька, Верусенька... Что же здесь смешного? Чего стесняться? Не нам ценить, не нам судить их слова. Насколько далек и невероятен мир, с которым они объединили нас своими улыбками, улыбками воспоминания, вечно живого мига, где все оказывается совсем близко, совсем рядом, в едином полумраке – они – и мы; они, высвеченные желтыми вспышками света... Они, один – в дверях, коротко стриженный, и тот, другой, спускающийся по лестнице, узколицый... и мы, моя сестренка, склонившая набок круглое вопрошающее личико: и раз – и два – и... я тоже в белом платье, тоже с локонами, но уже без банта... "Ах, какая прелесть! Ну просто святая Инесса! Только локоны потемнее".

"Ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Я Вами очень доволен, Сергей Васильевич! Вы прекрасно играли вчера!"

Он не замедляет шаг, только рука чуть задерживается на белом мраморе перил, и тяжелые глаза без удивления останавливаются на бледном лице мальчишки-первокурсника, тяжелые, опухшие глаза Рахманинова...

Господи! Мы совсем рядом! Мы – в этой комнате, возле заставленного фотографиями "Беккера" Веры Вячеславны, и они – на мраморной лестнице Петербургской консерватории... Что он подумал об этом мальчишке?! Я бросаюсь туда, пытаюсь втиснуться в чужое время, что-то предпринять, объяснить ему, что это – Прокофьев! Но кто же посмеет обратиться к Рахманинову? Или просто посмотреть ему в глаза... И Верочка, конечно, тоже опустила голову, крепче прижала к груди плоскую стопку нот и, вытянувшись мертвенно, как монахиня, прошла мимо, в своей кремовой блузке с брошью...

Заметил ли кто-то из них ее? Нет... Нет. А она? Как она рассказывала об этом – тогда? Дома, за чаем... "Мальчишка!" – Ясная улыбка изумления... "А что Рахманинов?" Нет. Пожалуй, все не так. Пожалуй, она рассказала об этом позднее, когда Прокофьев стал П р о к о ф ь е в ы м . Да! Только тогда все это обрело смысл, в воспоминании, когда стало казаться, что только Рахманинов не знал, а она уже знала. Без этого и не было ничего интересного. "Представляете, он встретил Рахманинова в консерватории на лестнице и сказал: "Я очень доволен Вами!.." Иначе все это... Получалась просто наглая выходка, а что за толк рассказывать кому-то о наглой выходке? Воспоминание зреет, вызревает, для него наступает день... И как жаль, что не будет дня, когда новый смысл обретут наши локоны и банты, и дрожащие голоса... Нам не дано. Да и есть ли еще время? Ведь они совсем одряхлели – и Верочка, и Оленька, а

многие совсем слегли. Или умерли. И они больше не являются первыми к началу концерта, не повисают их одинокие шляпки, особо уваженные строгим гардеробщиком, на пустой вешалке, и не занимают они свои обычные места в одиннадцатом ряду, в проходе... одна за другой, рядышком, как птички, с белыми грудками жабо, кружевные, опрятные, незаметные, обязательные, тихо и радостно приветствуют нас. “Две сестрички! Две сестрички!” – “А ты помнишь, Наташенька, какие кудри...” – “Ну как у тебя дела, деточка, как успехи?”

И я говорю, удивляясь тому, как серьезно звучат мои слова, и ощущая неловкость от этой серьезности, оттого, что мешаю людям в проходе, оттого, что... Да еще спиной, как прикосновение – нетерпеливые взгляды моих друзей: вот, дескать, снова застряла с этими старушками, трогательными, но... сколько же можно? Одно и то же каждый раз: кружавчики, старушечья застенчивость, восторженность, лучающаяся из глубины кресел, из бархатного уюта, обнимающего их, и так явно им приятного, что даже больно смотреть, потому что кажется, что они пришли сюда откуда-то из сырого, рушащегося, дышащего беспомощной ветостью... Ах, да нет же! Все не так! И нечего моим друзьям с жалостью смотреть! Нам и не снился такой уют! Уют жилья, уют тихого говора, ласки неторопливых движений, мягкого течения времени, нежных изломов дня, таянье зимних вечеров... И красный бархат кресел – не более, чем продолжение, атрибут, хотя, может, и вершина этих вечеров, главный смысл. Я старалась угадать, так ли это. Я искоса, через весь зал вглядывалась в их лица, даже переставала слышать музыку.

Беленькая, востроносая Ольга Васильевна, подавшаяся вперед... сощуренные глаза сравнивают, сопоставляют с чем-то давним... Ну и как же? В чью пользу выбор? Ах, да все хорошо! И то было хорошо, и это прекрасно – сияет Наталья Андреевна, маленькая, кругленькая, очень хорошенькая, без единой морщинки! с густой льняной сединой, кокетливо уложенной и подколотой волнами – от пробора... и еще, в пучок... и кофточка сидит ладненько, так все славно! Иногда, не отрывая взгляда от дирижера, оборачиваются друг к другу, как-то так, чуть заметно, едва заметные знаки, которые они улавливают то ли щекой, то ли виском, то ли... Я всматриваюсь и вижу, что Варвара Николаевна шевельнулась в каком-то намеке, – и Вера Вячеславна сразу поняла ее, хотя так и не подняла свои тонкие птичьи веки. Неужели окружающие думают, что она дремлет?! Нет, конечно! И какая мне разница, что они думают, окружающие? Зачем я суечусь, зачем унижаюсь объяснениями? Не надо! И все-таки я говорю: “Вот эта, востроносенькая, та, что сидит с краю, приходится тетушкой Святославу Рихтеру”. – “Да? – отвечают мне. – А сама она кто?” Она? И тут я понимаю, что не знаю ничего об Ольге Васильевне. А о Вере Вячеславне? Что я знаю о ней? Я напрягаюсь, но из обрывков старых разговоров, случайно зацепленных в детстве, ничего не могу сложить. Все больше о Кирилле говорилось, о том, как он надрывается, работая в двух местах, потому что Джемме все мало, свою зарплату она даже не вносит в дом, это ей “на булавки”. “На булавки”, “на булавки” – повторяю я, и от каждого слова веет на меня истертым старинным шелком. Чужие, нынешние слова. Сейчас так не говорят, говорят по-другому, на другом языке.

Вера Вячеславна владеет им. Ведь ходит же она в магазины, к врачу, судилась даже... При этой мысли я содрогаюсь так же, как в детстве, когда Вера Вячеславна делилась с мамой своими мытарствами. “Нет, но Вы представляете, голубчик, как обидно! Да если бы она сразу явилась, как только Ортоболовские выехали! Ведь я же сама пошла в жилкоп и сдала лишнюю площадь! Зачем мне такие хоромы? Но комната... Столько мучиться, столько лет скитаться по людям, получить, наконец, свой угол, – и как снег на голову! – Настя! Конечно, она тоже человек! ей тоже нужно где-то жить, я ей сочувствую, но где же она была

раньше?! До того, как квартиру заселили!“ И мама горячилась: “Надо представить свидетелей, пусть люди скажут, как все было, что она уже несколько лет не жила у Ортобелевских! Мало ли что?! А если бы у них было десять домработниц? Что значит: ее вселяют в вашу комнату?! С таким же успехом ее можно поселить к кому угодно из новых жильцов!“ – “Ну что Вы, голубчик! – пугалась Вера Вячеславна. – Как можно! Какое отношение к ним имеет Настя! Ведь это совершенно чужие люди! И потом – у них семьи, а я все-таки одна“. – “Так что же, если одна! – кипятилась мама. – Как это так! Мало того, что человек по своей доброй воле сдал жилплощадь...“ – “Меня бы все равно уплотнили, деточка! Даже Дмитрия Александровича как-то вызывали, хоть он и профессор, и у него большие заслуги... Они, знаете ли, сами тяготились этой квартирой. Просто соседей не хотели пускать в дом, а то бы, право... В Москве они выбрали квартиру наполовину меньше, и довольны. Ведь это все убирать надо, а они после Насти не решались брать постоянного человека. Они так с ней намучились! Просто рады были, когда она ушла: они уже отказать ей хотели, такая, право, тяжелая!“ – “Ну вот! Почему же вы должны ее терпеть, раз она такая тяжелая?!“ – “В том-то и дело, что тяжелая! – с непонятной надеждой воодушевлялась Вера Вячеславна. – Вздорная, обидчивая...“

Я представляла себе Настю угрюмой, лохматой дворничихой. В клеенчатом фартуке, с грязным ведром и метлой, уверенно раздвинув ноги, Настя стояла на пороге тонувшей в полумраке комнаты и с угрюмым рвением водила глазами по огаркам свечей, по цветам, увядшим в прошлом веке. Стеганные валенки оставляли мокрые следы на паркете...

Я никогда не видела ее, но постоянно чувствовала ее присутствие – позднее, когда перегородка отсекала две крылатые головы по углам потолка, и ангелы, летающие веночком вокруг крючка, оказались над пианино и истошно уперлись голыми пяточками в картонную стену, уперлись – пусть уж не над столом, пусть уж мерзнуть в стороне от абажура! – только бы не в темный тамбур, где горит голая лампа, где лежит Настин половик и высится ее накрытый клеенкой ящик!.. Пусть уж, пусть уж! Оранжевые тайные блики доставали их, круглили лобики и гипсовые попки, разбирали перышки в забеленных крыльях, и ангелы согрелись, раскручивались над моей головой... широким хороводом... под “Часы“ Шостаковича, под песенку Чайковского... “Когда-а-же-ро-о-зы-рас-цвел-ии... Де-тей-ев-рей-ских он-соз-вал... О-о-ни-сор-ва-а-ли-по-цвет-ку...“ И я с облегчением вслушивалась в звучание песни и снова убеждалась, что обиды в ней нет, нет злости на “детей еврейских“, пусть себе кружатся над старым “Беккером“... жаль только, что роз у них больше нет... завяли... давным-давно и едва слышно звенят засохшими лепестками на комодке, на этажерке, на пианино, но у вздорной Насти нет силы над ними, так и стоит за своей дверью, окоченевшая от злости, с метлой своей и с ведром, а здесь даже еще лучше стало, честное слово, еще лучше – гуще и теснее, только вот за ширму не заглянуть... жалко... а то... вдруг и он больше не сердится на меня, темный на золоте бог Веры Вячеславны? ведь за что? за что?

* * *

Как еще можно передать пустоту, пустоту бесконечного пространства? Никак. Только золотом. Ровный золотой фон дает необыкновенный эффект, необыкновенной силы ощущение. Чем я могла бы сымитировать это? Разумеется, нечем. Разве что бронзовой бумагой... И не так уж это смешно... довольно занятно может получиться и очень декоративно. Силуэт на бронзовой бумаге... А что? Тоже провал, пустота, хотя, разумеется, не такая. Что ж...

Это отличная икона московской школы. Не позднее семнадцатого века. Шестнадцатый... Пожалуй. Да и вторая не хуже. И там еще что-то в углу. За лампадкой... раньше не было... Интересно бы взглянуть без оклада.

Вот как я во всем разбираюсь! Так я думала... Мне исполнилось двадцать пять. Я окончила институт и вернулась домой. А сестренка моя поступила в консерваторию и приехала на каникулы. И мы пришли к Вере Вячеславне. И пьем чай. Вошли с яркого солнечного света в вечный вечер ее комнаты... под цветастый абажур – попросту платочек, накинутый поверх каркаса, с углами, свисающими почти до стола. Сидим, впятером, в желтом шатре света... А Вера Вячеславна – на грани... мечется между нами и невероятно неподходящей ко всему здесь девушкой. Девушка забежала на минуту и, должно быть, давно здесь не была. Тем не менее она не смущается, очень свободно поворачивается в хрупких дебрях комнаты, невозможно громко говорит. Я вглядываюсь в ее лицо: не скрывается ли за этой пластмассовой обыкновенностью одна из тех девочек, с которыми мы встречались на "концертах" у Веры Вячеславны? Не она ли пять раз подряд сбивалась, начиная "Коровушку"? Ах, да не может быть! Хотя что-то, хоть какая-нибудь черточка здешнего старообразия должна была отложиться на ней. Или хоть сейчас отразится? Нет! Она страшно похожа на мои георгины, такие неуклюжие, громоздкие для этой комнаты, яркие и пустые... Других цветов на рынке не оказалось, и я все-таки купила их... Они были даже очень красивы... пока не оказались здесь. Ими восхитились, но без душевной радости. Только Зоя (точно! ее звали Зоя) ничего несурзадного в них не заметила, наоборот, восторженно расшумелась и стала искать, куда их поставить, и чуть было не сняла с пианино высокую вазу с пыльными останками роз, но тут Вера Вячеславна вступилась за свои розы с таким решительным испугом – нет-нет, детка! это нельзя трогать! – что сразу стало ясно: это были какие-то особые розы, особое воспоминание, и я почти уже угадала это воспоминание... но... Зоя мне мешала. Еще больше, чем наши георгины. Ольга Васильевна их все же пристроила в каком-то кофейнике, и они торчали в три стороны, мучительно неустойчиво... Хотелось, чтобы они поскорее завяли и исчезли... Бедные георгины! Они были прекрасны... И Зоя... Просто она была... тем, чем по сути своей были и мы... тем и раздражала. Что с того, что я надела кремовую блузку с бархатным бантиком, сестренка подвила и распустила длинные волосы...

Мы не были – мы старались, и я со стыдом прислушивалась к изменившемуся звуку наших голосов, к необычным сочетаниям слов... Реверансы, реверансы... Зоя обходилась без реверансов. Не потому ли, что была действительно своя? С ней меньше церемонились, с ней им было проще, чем с нами. Я вдруг подумала, что и они ведут себя при нас как-то по-особому, знают, чего мы ждем от них, вот и... А Зоя – будни, Зоя – жизнь, продолжающаяся со своими проблемами... Нет! И все-таки она не нравится им! Все равно им: есть она или ушла, им просто хочется поподробнее узнать об этой Евгении Ильиничне. Кто же такая была Евгения Ильинична? Та? строгая? с жесткими черными волосинами по углам рта? Или та, что повязывала шарфик вокруг головы? Или... Но которая бы ни была – как могла получиться от нее такая внучка?! В такой блузке! в такой юбке! с такой прической! с таким голосом! "Ужас! Ужас! Просто трудно рассказать, как мы с нею мучаемся", – встряхивает головкой Зоя. Вера Вячеславна слушает ее стоя, очень сосредоточенно, но будто не Зоины слова, а что-то там за ними, более важное. И Ольга Васильевна опустила глаза на скатерть, катает крошку... нет-нет! – это не недоверие, наоборот, напряженное любопытство к новому. Но что же нового в Зоиных словах? Глубокая старуха выжила из ума. Склероз. Или они примеривают к себе эту беду? Господи, упаси! Что же тогда будет с ними? Ведь у них никого нет! Никого такого, кто мог бы возиться с ними, ухаживать, пусть даже раздражаясь, пусть даже заводя глаза, как Зоя... "Нет.

Она рассуждает вполне разумно, как будто все понимает, но... Мы уже и спорить с ней перестали, все равно бесполезно... И память! Нет, вы себе не представляете! Она все время сообщает какие-то новости! Ну как учебник. Про войну. Какие-то сводки рассказывает, про немцев, про сербов... Вчера, – оживляется Зоя, – папа к ней заходит, а она ему: "Ты читал "Утро России"? Ну что скажешь?! Как тебе речь Родзянко?" И как пошла, как пошла... Наизусть, как стихотворение! Папа говорит, интересно было бы найти этот номер и проверить, если бы только знать число. Я пошла нарочно и спрашиваю: "Бабушка! А какое сегодня число?" Она отвечает: "Восемнадцатое". Я говорю: "А год какой? месяц?" Она на меня вот такие глаза: "Что это вы все? С ума посходили?"

По Зоиною гримаске я догадываюсь: точно, речь идет именно о той темноглазой строгой старухе. И в интонации угадывается оттенок, особый рокот низкого голоса Евгении Ильиничны. Все становится на место. И я теперь прекрасно представляю себе ее грозное удивление, ее гнев на детей, закативших колокольчик, и на горничную, которая никак не является на зов, видно, оглохла, раз не слышит ее через какие-нибудь полвека!

– Ужасно! – вздыхает Вера Вячеславна (впрочем, нет в ее голосе паники). – Я всегда удивляюсь людям: по праздникам открытки приходят: "Желаем долгих лет жизни"... Да кто же человеку в таком возрасте долгих лет желает?!

Она всплескивает руками, и я захлебываюсь от нежности в скором взмахе руки, длинной и угловатой, такая неожиданная девичья горячность... (Да, кажется, тогда, именно тогда я угадала ее, вернее, начала угадывать... Или просто повзрослела и увидела то, что всегда было видно. Только не мне.)

– Но чего же желать? – чуть краснея, спрашивает моя сестренка.

– Чего? Ну-у, не знаю, – отвечает Вера Вячеславна, и что-то озорное вспыхивает, да так и остается на ее лице... Какая-то смешная и остроумная фраза, которой она все же не дает сорваться с губ. Что же? Может... Ну да ладно. Досадно, что не сказала. Пожалела Ольгу Васильевну? Да ведь Ольге Васильевне все равно. У нее своя мысль. Она катает крошку по скатерти, три тонкие морщинки на лбу выгнулись вопросительно над поднявшейся бровью. Как три тайных вопроса: так ли уж страшно то, что произошло с Евгенией Ильиничной? не удача ли это? не достойна ли она зависти?..

– Как она когда-то танцевала! – невпопад вздыхает Екатерина Николаевна, и черно-фиолетовый бархат, тяжело полыхнув, проносится – и ничего не задевает в хрупкой сумеречной тесноте комнаты...

– Вот-вот! – подхватывает Зоя, – это – ее хлебом не корми, дай рассказать, как она с наследником танцевала. "Какая на нем была гусарская курточка... душка! такой душка! стеснялся... А Мария Федоровна какая была душка!" Представляете?

Они кивают и делают неопределенные движения губами, каждая о своем...

– Но как же вы все-таки с ней общаетесь? Как она с детьми?

– Да никак, – Зоя снова оживляется: вспомнила смешное. – Томочка к ней вчера подходит, а она спрашивает: "Девочка, ты чья? Верно, кухаркина?" А Томка ей говорит: "Нет. Я ваша правнучка, Тома". А она – даже рассердилась. "У нас, – говорит, – в роду таких простых лиц не было. И имен таких не давали". А мне говорит: "Это, видно, девочка новой кухарки. Очень хорошенькая, правда? Но простоватая". Представляете? "В нашем роду...!"

По выражению Зоиною лица становится ясно, что Томочка – девочка замечательно красивая, и Зоя гордится ею. Но еще понятнее мне удивление Евгении Ильиничны, спящей красавицы, очнувшейся через полсотни лет и обнаружившей на вершине суровой мощной кроны своего родового дерева – гладко обструганную тросточку... Бедная Евгения Ильинична! А может, я ошибаюсь? Может, Евгения Ильинична – та, которая носила камео, у которой волосы

вились? Маленькая такая... А может... играла все-таки Зоя "Коровушку"? Вот ведь и прощается она с нами, как со знакомыми...

– До свидания!

– До свидания!

– Очень приятно было познакомиться.

Вера Вячеславна оборачивается на нас от дверей:

– Это, Зоинька, мои две ученицы. Одна – пианистка, в консерватории учится, а вторая – художница. Сестрички.

Зоя заинтересована, делает даже движение задержаться, но все-таки уходит, ко всеобщему облегчению. Почему же облегчение? Ведь с Зоей они говорили так легко, с такой непривычной для нас простотой, и так все было деловито, так совпадало во времени!.. А как только она вышла, все будто приготовились к чему-то, и лица обмякли, постарели, стали наивнее... Может, это в самом деле игра? неосознанная игра с нами? ради нас? Да нет же! Они просто заняты сейчас только нами, они рады нам, и коричневый полумрак так тепло сгустился вокруг... Зоя была как свет, как свежий воздух... А мы? "Две сестрички..." И в их ласкающих взглядах снова какое-то воспоминание, сравнение... с чем?

– Ах, какая жалость, что Наташеньки нет! Натальи Андреевны. Она к родственнице уехала в Ленинград, помочь, та очень старенькая, при смерти. Ты пожди немного, голубчик, сейчас Лидия Михайловна придет – и начнем.

– Лидия Михайловна?

– Ну да. Да ты ведь ничего не знаешь, голубчик! У Лидии Михайловны брат умер, и она сменяла свою квартирку на комнату в нашей. Ей легче с нами, сама понимаешь. Мы хоть и слабенькие стали, но все вместе справляемся.

– Нет! Это замечательная была идея – всем сменяться сюда!

Они моргают несколько рассеянно, соображают... Идеи никакой не было: просто Оленька, Ольга Васильевна, получила комнату, но Настя, из чистого упрямства! отказалась. Только чтобы не сделать, как ее просят! Ведь комната Ольги Васильевны в три раза больше! светлая! и с кладовочкой. А Смирновы (тут две пожилые женщины жили, Смирновы) сразу ухватились. Там ведь еще балкон. Они комнату разделили, им очень удобно. Здесь нельзя было: здесь только одно окно, а комната тоже хорошая, гораздо лучше Настиной. У Насти комната узкая и длинная, но нам безразлично было. Мы все равно все здесь находились.

– Она даже участковому писала, что мы здесь проживаем без прописки! – подключается с порога Лидия Михайловна и улыбается нам со всем своим близоруким радушием. Я сомневаюсь в том, что она нас узнала, ну да какая разница...

– Это такой странный человек! – не может угомониться Лидия Михайловна.

– Все во вред себе делает! Ну с Оленькой, ну с Наташенькой меняться не хотела. Но со мной – подумайте! – на отдельную квартиру! Туда пошла семья из трех человек, и они так благодарили, целовали меня!

– Теперь и у вас почти что отдельная квартира, – восхитилась моя сестренка.

– Из старых жильцов только Настя осталась?

– Нет, детка, еще Клавдия Викторовна. Но она прекрасная женщина, большой наш друг.

– Надо ее позвать, – торопливо поднимается Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна совсем согнулась, но все еще шустрая, быстрая в движениях.

– Так что же, концерт сейчас будет? – Лидия Михайловна глубоко усаживается в старинном резном кресле. Сияя от удовольствия, слушает, как сестренка пробует инструмент. Звук у "Беккера" стал капризный... звенит... "фа" западает в первой октаве... по резной лилии в стиле модерн пробирается коричневый

прусак. Сердце у меня сжимается от беспокойства и тоски, он ползет будто по моим нервам... вверх, к крышке, ловко передергивается через угол и исчезает за изящной старинной рамочкой...

- Вера Вячеславна, это Ваша мать?
- Это? Нет, голубчик.
- Мне показалось, что они на Вас похожи.
- Нет, детка. Это Ортоболевская, Софья Дмитриевна, с сыном.
- Тот самый?
- Да, детка...

Вера Вячеславна собралась было что-то рассказать, но вдруг напрягается, губы становятся короткими и морщинистыми, встревоженные глаза упираются в стену, из-за которой слышны нестройные голоса. Чьи? Она хочет встать, но Ольга Васильевна является из коридора с какой-то баночкой и делает легкий успокаивающий знак лицом, приподнятой рукой.

– Все в порядке.

– Мы боимся лишний раз выйти на кухню, – поворачивается ко мне Лидия Михайловна. – У меня, знаете ли... врачи говорят: насморк, хронический насморк, но это, конечно, мозги вытекают от старости. Я же чувствую: память день ото дня все хуже. Я непрерывно стираю носовые платки и сушу их прямо в комнате на веревке. Хожу и лбом задеваю! Хотя кухня у нас громадная. Но никогда не знаешь, к чему она придерется в следующий раз. Жизни от нее нет! Ну хватит о Насте, бог с ней. Будем концерт слушать.

Я завидовала. Мне страшно хотелось стать рядом с сестрой и запеть. Но к сонате Брамса слов не подберешь, да и голос я сорвала давным-давно, в пионерском лагере... И я ревниво прислушивалась к тому, как сестренка своим романтическим напором перекрывает фальшь ненастроенного инструмента и собственные помарки... Прусак по вазе вскарабкался на засохшие цветы и стал невидимым, а потом вдруг снова объявился – на стене – и пополз среди портретов... мимо суровых мужчин, непроницаемо гордых женщин с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, мимо священника в белой ризе со строгой рукой, приложенной к кресту... мимо... Ах, вот и она! та девушка, что глядела добрее остальных... то-то она все казалась мне знакомой! Еще бы! девушка в саду... Серова... "Девушка в саду", красиво напечатанная фотография из старого журнала... А впрочем... почему бы и нет? действительно! ведь с этой девушкой они вполне могли быть знакомы! Скорей всего так оно и есть! иначе не отвели бы ей такое место. Может, и дерево это им знакомо, и лавка... на дачу ездили, к ней на дачу... Она была старше, дружили между собой родители... а Верочка скучала, наблюдала за ней издали, за ее приятелями, за их разговорами, играми... Может, и Серов бывал здесь среди гостей. Отчего бы и нет? Отчего бы не столкнуться где-нибудь с Серовым девочке, отец которой пел с Шляпиным в одной труппе? Ах! Почему же Серов не написал Верочку?! Какой это был бы портрет! Кажется, так и возникла первая мысль о портрете. Но в тот раз я отвлеклась: грянуло роскошно пианино с последним жаром расстроенной бесшабашности, с фарфоровым звоном и медным дребезгом – ВСЕ!!!

Сестренка сбросила руки и быстро прокрутилась на вертящемся стульчике лицом к нам: за одобрением, за снисхождением к небрежности, лукаво сморщенная мордашка... До чего же у меня красивая сестра! Коричневые волосы до локтей, длинные тонкие руки – одна через другую, длинные – одна через другую – ноги... Видно ли? понятно ли им это изящество? Наверное, нет. Наверное, они видят только лицо, только громадные глаза с поволокой, с голубыми чистыми белками. "Рафаэль!" – "Да! Только у Рафаэля можно встретить подобную красоту!" Я жду, когда они это скажут, но они не говорят, они и Рафаэля не видят, а видят маленькую девочку, с локонами, толстущую, у которой ножки не сходятся, торчат

врасстопырку, и часто моргают круглые любопытные глаза. Подумать только! Такая крошка – и так хорошо играет Брамса! труднейшую, труднейшую сонату! Они поводят плечами, головами качают, ждут, что скажет Верочка. И Верочка говорит: "Я так не играла. Не помню, кто это сказал: "Победителю-ученику – от побежденного учителя..."

– Ну что Вы, Вера Вячеславна!

Разумеется, она преувеличивает. Сестренка играет хорошо, но неужели студентка Петербургской консерватории, Верочка, которой присудили золотую брошь – первый приз на конкурсе, пусть небольшом, пусть женском, все-таки...

Все-таки это зависть. Досада. На них – за то, что совсем забыли о моем присутствии, на себя – за то, что бросила музыку, и вот теперь...

– Как жалко, что ты, детка, бросила музыку! – неожиданно откликается на мою мысль Вера Вячеславна. – Ты, конечно, умница, художница настоящая... Но все равно жаль... У тебя прекрасные способности были. Просто до сих пор не понимаю, почему так вышло.

– Я боялась нот, Вера Вячеславна.

– То есть как – боялась? – недоуменно улыбается она.

– Очень просто. Я в них совершенно ничего не понимала. Я могла играть, только если знала вещь, на слух.

– А вообще-то, представь себе, я сталкивалась с этим. К нам однажды дальняя родственница приехала, молоденькая девушка. Приехала поступать в консерваторию. Моя гувернантка предложила нам сыграть в четыре руки. Так вот она – совершенно не могла играть с листа! нервничала, ногти грызла... А потом, вечером, она сыграла свою программу (Вера Вячеславна снова удивляется) – и знаете – очень неплохо, просто талантливо! Она, правда, не поступила. Но не потому, что плохо сдавала. Мы так полагали, детка, что это из-за брата. У нее брат находился в ссылке. Тогда, знаешь, вся молодежь занималась политикой... Она потом замуж вышла вскоре. Дети... Время такое... Совсем оставила музыку...

– Вот это уж действительно жалко. Мне кажется, самое трудное – пройти начало. Если бы я одолела азы...

– Ты бы прекрасно играла! Ну да ничего! Ты у нас и так умница. Я всем рассказываю о вас: две сестрички! Две сестрички...

* * *

Не в тот ли день было так: я вышла на улицу и остановилась, оторопела от нагрывшего света. Оказалось, что еще день, что еще совсем рано. И можно даже подумать, куда податься дальше. Кажется, в тот день мы и столкнулись с Глебом возле входа в дом, и я сразу подумала, что он их должен знать. Но только через несколько лет я впервые заговорила о них с Глебом. После смерти Наташеньки, Натальи Андреевны... Я стала бояться им звонить: вдруг снимут трубку и скажут... Тогда-то я и вспомнила о Глебе. Я поднялась к нему в мастерскую и спросила, не знаком ли он со старушками, с теми, что живут в его доме на первом этаже. И он ответил: "Это мои лучшие друзья".

"Глеб? Ты работаешь вместе с Глебом? Это наш большой друг, он, можно сказать, вырос у нас. (Большой – но не лучший, – с удовольствием отметила я про себя). Говорят, он очень талантливый художник. Ты знаешь, – тихо рассмеялась Вера Вячеславна, – он очень любит старинные вещи, это у него прямо страсть!"

Так вот куда исчезли резные кресла Веры Вячеславны! А я-то надеялась как-то так навести разговор, чтобы Вера Вячеславна продала их мне. Не знаю, зачем они были мне так нужны. Громоздкие кресла, мне даже некуда было бы их

поставить. Они и у Веры Вячеславны казались лишними. Появились вдруг, и в комнате из-за них прохода не стало. Так и не прижились. Должно быть, Вера Вячеславна еще и благодарна была Глебу за то, что он их забрал, выручил, ну просто спаситель!

– Кто же сейчас не любит старинных вещей? – ”отомстила“ я Глебу. Мне стало казаться, что в комнате еще чего-то не хватает. Многого...

– Нет, детка, не скажи! Вот у нас приятельница умерла. Ее вещи просто невозможно было пристроить: комиссионный не принимает... раньше старьевщики ходили... у нас прямо проблема была. А главное, понимаешь: остался портрет ее отца. Это, детка, очень интересная судьба. Ее отец погиб, когда ей было пять лет, но она его всю жизнь боготворила. Он в Болгарии погиб, на Шипке. Мать осталась с девочкой, без средств, так и не вышла замуж. Она его очень любила. И вот в девочке тоже воспитала прямо поклонение. Они, конечно, пенсию получали, им помогали. Дарья Константиновна училась в Смольном, и ее там оставили работать сразу после окончания, хотя и не положено было. Она мечтала там остаться, и для нее сделали исключение. Так о чем я? Ах да! Так вот, детка, на свое первое жалование она заказала портрет отца и к нему – раму из красного дерева. Очень красивый портрет, большой, около метра. Посуди сама: куда я могла его повесить? – Вера Вячеславна оправдывается передо мной. Или перед Дарьей Константиновной? – Красивый портрет. И рама очень красивая, говорят – дорогая. Но все-таки... это ведь не такой уж близкий человек. Он вот тут стоял, прямо на полу, и у меня все время были угрызения совести. Понимаешь? – у нее напряженно морщится лоб. Она боится, что я осуждаю ее.

– Да в чем же вы виноваты?! Это просто даже тяжело, когда такой большой портрет постоянно перед глазами. Да и зачем снимать портреты родных для того, чтобы повесить портрет чужого, незнакомого человека?

– Вот именно! вот именно, детка! Если бы комната была побольше! А так – я прямо не знала, что и делать. Представляешь: ко мне привели одного молодого человека, который собирает портреты военных разных полков. У них, детка, форма отличается. Чего только люди не собирают! Он так нас благодарил! У него громадная коллекция, а именно такого не было. Это, говорит, будет у меня самый ценный экспонат. Он хотел нам раму вернуть, но мы отказались: нельзя же, в самом деле! Да, жаль, что он собирает только фо-тографии военных, – улыбается Вера Вячеславна. – Я велела Кириллу после нас все бумаги сжечь. Так бывает неприятно, когда видишь на мусорнике старые фотографии...

– Почему это – на мусорнике?!

– Да кому же они нужны будут, детка?

– Да хоть бы мне!

– Правда?

Вера Вячеславна не хочет ловить меня на слове, что-то прикидывает.

– Может, они в самом деле будут тебе полезны? Ведь ты художник... Да, действительно... Кажется, напрасно я с портретом поспешила. Жаль, что ты его не видела: очень хорошее лицо! Впрочем, тут есть! – она листает альбом, ищет, – вот они, видишь? все троим. Сфотографировались перед его отъездом в Болгарию... Это Дашенька, совсем крошка! – горячо умиляется Вера Вячеславна, перелистывает страницу. – Это муж Анечки. А это – узнаешь?

Узнаю. Это я. С книжкой на коленях и послушно заведенными к потолку глазами. Рядом приклеена фотография моего малыша. И тут же – Рыжик. Рыжик в ванночке. Рыжик в шубке... И между листами – фотографии Джеммы, те, что висели когда-то на стене... сваленные кое-как, с загнутыми углами.

Джемма... и снова Джемма. Вере Вячеславне интересно: что же это привлекло мое внимание? Ах Джемма...

– Такая она оказалась непутевая. Ребенком совершенно не занимается! Кирилл ему и за мать, и за отца. Мальчику скоро пять лет, а она все еще о родах говорит, все еще ужасается.

– Но это, знаете, в самом деле не шутки, – вступаюсь я за Джемму. – Я моложе ее – и то...

– Ты – совсем другое дело, детка, у тебя таз узкий, и вообще ты всегда была слабенькая...

Она говорит со знанием дела и без излишнего интереса, обычного для старых дев. У нее все было: рожала Аннушка, Варенька рожала... И разве же он ей не родной – Аннушкин сын? Но вот вмешиваться во что бы то ни было она не имеет права. Была бы жива Аннушка – она запретила бы Кириллу надирать здоровье на двух службах. Преподаватель консерватории! должен унижаться на фабрике роялей ради лишних нарядов...

– Что же в этой работе такого унижительного, Вера Вячеславна?

– Да то, детка, что рояли-то все негодные! Он должен опробовать каждый инструмент и дать свое заключение. А мог бы и не пробовать даже! Все равно его вынуждают давать заключение положительное.

Мне нравилось, что во всей этой истории она осуждала только Джемму. Не возмущалась "нынешними порядками", не ссылалась на благополучное прошлое фирмы. Не из осторожности – из деликатного нежелания оскорбить меня: ведь это мое время, моего времени порядки. Не было ни язвительности, ни снисхождения. Понимание времени. Может, несколько отстраненное. Понимание, которое всегда удивляло меня. Она, например, рассказала о том, что племянница ее вышла замуж за художника. Племянница эта – действительно племянница, дочь двоюродного брата, женщина уже немолодая, так что брак можно было бы считать большим успехом. Человек он очень приятный. Но – неудачник. Все у него что-то не получается. Куда ни подаст – не принимают. Ничего не может продать. Попросту живет на иждивении у жены. "Я тоже неудачник, Вера Вячеславна". – "Что ты, детка, – ласково всполошилась она. – Какой же ты неудачник? Ты ведь сама ни к чему такому не стремишься! Он добивается, добивается славы – а ты и не подаешь свои вещи никуда. Ты же для себя все делаешь – так какой же ты неудачник? Глеб говорит, что у тебя получилась очень хорошая картина".

Картина тогда уже была почти дописана, и Вера Вячеславна очень жалела, что не может увидеть ее.

– Картина изумительная! – когда речь идет обо мне, моя сестренка теряет чувство меры. – Это ее лучшая картина! Она могла бы висеть в любом музее!

– Правда? – откровенно радуется Вера Вячеславна. – И похоже?

– Да, очень! К нам люди приходят, которые знакомы с вами – все в восторге!

– Слышишь, Оленька? – обращается Вера Вячеславна к входящей Ольге Васильевне. – "Моя" картина уже дописана, и все говорят, что очень похоже.

Ольга Васильевна улыбается, накрывает к чаю, чашечки опасливо позванивают на блюдцах. По тому, как они встретились глазами, я вдруг угадываю, что они много говорили об этой картине и даже придают ей какое-то особое значение. Не слишком ли высокое? Не ищут ли они в этой картине, которую не видели и, наверное, не увидят, а только представляют с чужих слов, – не ищут ли они в этой картине некое справедливое завершение, возвращение права на продленную искусством жизнь? Такое вот странное исправление того, что было нелепо и случайно испорчено в самом начале... Разбитая жизнь, неудавшаяся судьба... Почему Верочка, дочь певца, Верочка, получившая золотую брошь на конкурсе в Петербургской консерватории, умная, образо-

ванная, интеллигентная девушка – почему она всю жизнь проходила из квартиры в квартиру в уродливой шубке, с черной сумкой, свисающей до земли? Как она оказалась в чужом городе? Почему бездомная?

Я уже знала, что и моя судьба – неудавшаяся судьба. Я уже знала, что слепну и что это неизлечимо. Я уже писала свою первую повесть о неудавшейся судьбе. Но Верочка была выше своей судьбы: она не считала свою жизнь несчастливой, она никогда не жаловалась, ни в чем не обвиняла ни людей, ни обстоятельства, я ни разу не видела, чтобы воспоминание вызвало в глазах ее печальный разбитый блеск. Она принимала свою жизнь спокойно и достойно, так же, как свою некрасивость, и так же, как некрасивость ее обернулась в старости самой глубокой красотой – жизнь ее обрела редкий сосредоточенный покой, и в этот покой, в эту старость одна за другой вернулись подруги ее детства, вернулось нежное благородство привязанностей, любви без требовательности, без назойливости. Она сумела остаться равной и желанной и для тех, с которыми начинала, и для тех, кто достиг высокого положения, славы, суеты.

Я рассматривала фотографии. Среди них не оказалось ни одной, где Вера Вячеславна была бы моложе пятидесяти лет. А ведь где-то лежали! лежали же они, обреченные на уничтожение: Верочка – младенец, в белом оборчатом платьице, похожая на мальчика; Верочка – глядящая исподлобья девочка с косичками, рядом с матерью и сестренкой; Верочка – суровая порывистая гимназистка с впалыми щеками; Верочка в мешковатом платье тридцатых годов, с не по контуру подкрашенными губами – бантиком, наведенным поверх длинного силуэта чайки... Нет, уж лучше мне не видеть этот снимок, не она это, совсем не она. Кто-то уговорил сходить к фотографу... все ходили... вот и Верочка... А то бы и мысль такая не появилась. Она и позднее никогда не ходила фотографироваться. Все снимки были случайные, любительские, сделанные где-нибудь в гостях. Вера Вячеславна с Анной Леонидовной – голова к голове. Вера Вячеславна с Любовью Даниловной. А вот и Ортоболевская. Совсем не такая, как на официальных портретах, домашняя, в вязаной кофте, ласково оплывшая боком на диване. Она кажется гораздо старше Веры Вячеславны. Подтянутая, в строгой нарядной блузке. Вера Вячеславна стара. Согнута, морщиниста и старообразна. Но почему-то именно старообразность как-то неожиданно ее молодит. Все те, с кем она фотографировалась, выглядят намного обыкновеннее: слишком плотно отложились на них современность.

– Насколько вы моложе Софьи Дмитриевны?

– Что ты, голубчик! Она моложе! У нее просто жизнь так тяжело сложилась... Муж погиб в сорок пятом году, в апреле. Он был кадровый военный, прошел две войны – и вот... У нее нервный срыв произошел, она больше не играла на сцене, стала преподавать. Она была прекрасной пианисткой, детка! А еще она до войны похоронила мальчика, ты ведь знаешь...

– Да-да! – тороплюсь я. Я боюсь, что она снова расскажет историю о мальчике Софьи Дмитриевны.

* * *

Были две такие истории... Две истории, поразившие мое детство непотерянным чувством сострадания. Не знаю, сколько раз я слышала их. Каждый раз, когда речь заходила о скарлатине или вообще о заразных детских болезнях? Я хотела их забыть, но постоянно помнила, а вернее, переживала, видела, участвовала, слышала запах лекарств и запах одеяла, в котором мальчика вынесли на улицу, и вдыхала морозный шершавый воздух, и небо видела над собой – голубое... "Такой был мальчик! Такое милое дитя!" Я чувствовала, как брыкается, бьется по корявому булыжнику машина "скорой помощи"... И мальчик

– как я его понимала! – говорит склонившейся над ним матери: "Вот видишь, ничего страшного... А ты так боялась скарлатины!" И в ту же ночь – умер...

Вторая история была о девочке, которая стояла в коридоре... Кто же это был? Наташенька? Наталья Андреевна? Это она вечно повторяла, что не отличается никакими талантами. Да нет, Наталья Андреевна хорошенюкая была, даже очень хорошенюкая! Кто же тогда? Ольга Васильевна?! Так это Ольга Васильевна стояла в темном коридоре... маленькая, длинноносенькая, с острым затылком и свалывшимися в болезни косичками... Ночью... никак не могла заснуть и с отвращением чувствовала, что выздоравливает! И робко убеждала себя, что ни в чем не виновата, что это соседская Катя заразил их обеих... Но Катя умерла. А сегодня утром умерла Женечка... Женечка. Сестричка! Красавица! умница! певунья Женечка!! У Оленьки нет больше слез... Она не может больше оставаться одна – к маме, к маме сейчас же! Не утешить и не за утешением – прижаться, только прижаться... И она на исчезающих от слабости ногах идет по темному коридору, останавливается у дверей – и слышит исступленный, изодранный отчаяньем голос...

Все это мерещилось, только мерещилось мне. Вера Вячеславна рассказывала без подробностей. "Она подошла к дверям и услышала, как мать говорит подруге: "Лучше бы Оля! Лучше бы Оля умерла!"

Я ненавидела... иногда, когда этот кошмар слишком реально накатывал на меня, накатывал беззастенчиво, и чужая длинная жизнь, до конца, непоправимо окрещенная прорвавшимися в горе словами, ложилась отзвуком, отсветом на жизнь мою... За что? Для чего? Неужели Вера Вячеславна не догадывалась, какой груз взваливает на меня?

Конечно же, нет. И умиленное выражение ее лица, несурзное выражение – оно-то и вызывало во мне такую злость! – не было случайным. Для нее все это звучало совсем по-другому. Для нее эта история прежде всего была прекрасна... Но такое я смогла понять и оценить только позднее. Понять и полюбить, как полюбила ее порывистую девичью повадку. Неужели же раньше не было этого быстрого взмаха, угловатого взлета руки, милой привычки горячо и внушительно выделять в предложении какое-нибудь неожиданное слово. "Мы в Петербурге тогда жили, детка!" Наверное, было, но сама я была ребенком. Я боялась смерти, я старалась не думать о ней. И ласковая обыденность их разговоров о смерти казалась мне фальшью. Ласковая обыденность, в которой позднее я черпала уверенность и покой. Мне нравилось слушать, как они говорят о покойной Наталье Андреевне. Без надрыва. Как о живой. Большой портрет Натальи Андреевны висел над кроватью Веры Вячеславны. Должно быть, сделал его тот самый племянник, который учился во ВГИКе, оператор. И сделал прекрасно: Наталья Андреевна смотрит прямо в объектив, открыто и простодушно, как смотрят в объектив дети, спокойно ожидающие птичку... Она присутствует. Она участвует в чаепитии, слушает музыку, интересуется новостями. Рада, что наварила столько варенья: до сих пор есть чем угощать. Не для нее ли подалеже отодвинута створка ширмы? Чтобы лучше видеть? Кому? Или чтобы свободнее было летать птичке... птичке...

* * *

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась, и точно так же тяжело и счастливо бился во мне созревший замысел. Я угадала Верочку. Я коснулась носком высокого ботинка обманчиво-мягкой корки первого льда, и лед хрустнул, скололись, стасовались прозрачные карты... Теперь следовало их собрать. Составить основу, на которую лягут все ее воспоминания, все

мельком оброненные замечания и фразы. Пойти к ней и расспросить, как это было, во всех подробностях.

Жизнь, прожитая жизнь... единственная, редкая, полная изумительных, ярких, как жемчужины, событий. И вот она случайно явилась, приоткрылась мне, как дверь в светлую комнату, где убирают елку. Как щель, через которую видна гостиная, и лампа над столом, и нарядные женщины с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, живые, движутся и смеются, и восторженно аплодируют отцу... И голос отца потрясает темноту за стеной, темноту, где спят – где должны бы спать! – дети. "Нас всегда укладывали в одно и то же время, даже если приходили гости. И тишину при этом не соблюдали, не ходили на цыпочках, говорили в полный голос, играли на рояле, отец пел, наш отец прекрасно пел!"

Странно, почему я тогда же не спросила, сколько их было, детей? Что за голос был у отца? тенор? Какие партии он пел? Где произошла эта смешная история с Шаляпиным? на гастролях в Англии? А где была в это время Верочка? Там же, в Лондоне, в гостинице? Или это отец, усталый и веселый, вернувшийся из долгой поездки, распаковывал чемодан с подарками и говорил, говорил... Ведь она, кажется, рассказывала, столько всего рассказывала! А я запомнила только отдельные слова, смешные случаи, бесполезные сейчас. Запомнилось, как королева Швеции отправилась на поклон к Елене Гнесиной и застряла в лифте...

Впрочем, и из этого может получиться прелестный эпизод, и ему найдется место. Бедная старушка... в чужой стране... висит, как птичка в клетке... сердечные капли, сопровождающие лица, заматавшаяся в бессильном беспокойстве Гнесина... Должно быть, она уже не могла ходить в то время. Обязательно надо узнать! И как это я сразу не расспросила Веру Вячеславну о Гнесиной? Ведь стоял передо мной сборник Гнесиной, а напечатанное на бумаге имя вызывало во мне трепет, и казалось невероятным чудом знать, что человек этот жив, что с ним можно даже говорить, и не кому-то, а вот ей, Вере Вячеславне, которая сидит в нашей комнате и дремлет, пока моя сестренка играет инвенцию Баха. Ах, это было почти так же ошеломляюще, как если бы она говорила с Бахом! Я холодела, когда она, что-то знакомое вдруг различив в задавленном шипении радио, быстро подносила к губам сухой длинный палец: "Тише, тише, детка! Включите, пожалуйста, громче, это Варенька говорит, Варенька... Варенькин голос..."

Варвара Леонидовна Гурская низким, увлеченным голосом рассказывала о невероятной музыкальности своего ученика, своего открытия, маленького Моцарта пятидесятых годов – Сережи Дорожкина. "Варенька..." И мир несказанно раздвигался, вскрывалось гулкое, таинственное пространство, желтая пустота, именуемая "эфир". Тихая улыбка появлялась на лице Веры Вячеславны, появлялась и не исчезала до конца урока. Вера Вячеславна застегивала коричневую пуговку под шеей, аккуратно завязывала длинные уши шапки, кивала, сгорбленная шла по улице, и что-то все теплилось на ее лице... Мне казалось, она бережет в себе Варенькин голос. А если она приходила на урок оживленная и в конце чуть торопилась, мы догадывались, что это Сережа Дорожкин приехал на гастроли, а с ним – Варвара Леонидовна.

Я бредила Сережей. Мальчик, потерявший сознание от неблагозвучия автомобильного гудка, поразил мое воображение. О нем говорили все! В школе, в трамвае, в гостях. И так страшно, так изумительно было слушать эти разговоры и молчать, и быть единственной, кто знает, что он вот сейчас находится совсем близко, в хорошо знакомой мне комнате, и в теплом мраке ангелы раскручивают свой хоровод над ним, над старым "Беккером", и вся комната, тайная, отгороженная от суеты, как драгоценная шкатулка для этого хрупкого чуда, до

мелочей, до каждой трещинки на блюде... И я мысленно витала там, возле него, в белом платье, с распущенными волосами, отгораживала его осторожно своими ладонями от автомобильного гудка – и пела, пела что-то не своим – не здешним, не здешней силы и не здешнего звона голосом, голосом потрясенной души.

Год? Два года? Сколько это длилось, сколько лет я пела, сколько лет Сережа лежал в обмороке, и светился нежный его висок? Но Вере Вячеславне я не задала ни одного вопроса. И позднее никогда не поинтересовалась, что стало с ним, куда он канул. Но когда я попыталась осмыслить все это, я засомневалась. Я вдруг подумала: неужели Гурская со своим знаменитым учеником – с мальчиком! – останавливалась в тесной комнате коммунальной квартиры, спала на старом диванчике?

Я считала дни, оставшиеся до отъезда домой. И время расслоилось: оно умудрялось одновременно тянуться смоляной каплей от дня ко дню – и от минуты к минуте сыпаться сквозь пальцы пугающе быстро, с тихим звоном, непоправимым шорохом увядших цветов... Отпущенное время... Все сжималось во мне, когда я вспоминала, какой постаревшей, осевшей показалась мне Вера Вячеславна, когда открыла дверь в тот мой приход, перед самой поездкой. "Я совсем одряхла, детка. Больше никуда не выхожу. Только в церковь да в магазин тут рядом". Она сказала так, будто что-то об этом мне уже известно, что-то я должна понять. И мне казалось, что я понимаю. И книга складывалась сама по себе, росла, открывалась из сцены в сцену, как анфилада комнат. И только ждала своих подробностей, ясного луча, который выделит из полумрака детских впечатлений события, лица ушедших и живых, великих и безвестных... Ответил ли что-нибудь Рахманинов тогда, на лестнице? Оленька... она ли стояла там, в темном коридоре? И кого Наталья Андреевна прятала в шкафу от немцев? А девочка, которая во время блокады корила себя за не доеденную когда-то сметану – выжила ли она? Не она ли та самая племянница, что вышла замуж за неудачника-живописца? И почему Верочкина семья уехала из Петрограда? От революции? Но почему тогда они не бежали за границу? А, может, просто отца пригласили в другой оперный театр? И как попала Верочка в семью Ортоблевских?

Я составила подробный список, пятьдесят шесть вопросов. Последний – о "Девушке в саду".

* * *

– Вера Вячеславна? У них все хорошо. – Глеб не понимает, что меня интересует, думает – новости. – Ольга Васильевна болела, но сейчас поправилась. К ним гости приехали из Чернигова. А вы зайдите к ним, они рады будут.

Конечно же, зайду. Глеб нужен мне для того, чтобы не нарваться на тот самый звонок, который я с тоской предчувствую. Я все-таки не научилась у них не бояться смерти.

– Клавдия Викторовна, голубчик, совсем слегла. Третий инфаркт. – Вера Вячеславна подается в сторону комнаты Клавдии Викторовны, не знает, надо ли меня повести к ней повидаться. Нет. Все-таки не стоит. – Она так переживает, детка. Не хочет переезжать. Она хочет умереть здесь. Разумеется, она права! Сто раз права. Кто же спорит? Но разве можно из-за этого откладывать капитальный ремонт дома? Она требует, чтобы подождали, пока она умрет. Да ведь и неизвестно же, когда это произойдет! Нам всем было бы лучше умереть здесь, но нельзя же ради этого оставлять людей в грязи! Люди столько лет добивались. Это не шутки. Тут намечена большая реконструкция, многим новые квартиры дают. Ты знаешь, у Глеба после реконструкции будет отдельная двухкомнатная квартира.

– Но вы-то как, в самом деле?!

– Ну что поделаешь... Придется переезжать на массив. Они ничем не могут помочь. Нет квартир в центре. Идти в отселенческий дом мы не можем, да мы и не доживем до конца ремонта.

– Господи! Неужели они сами не понимают, что вам нельзя на массив?

– Я им объясняла, детка. Я им сказала, что сюда к нам приходят, а в такую даль кто сможет выбраться? Все очень заняты. А он мне говорит: "Те, кто к вам сюда ходил, и туда поедут". Я ему сказала: "Я сама этого не допущу". Представляешь себе, детка, Петя, вечером, зимой, после работы – едет к нам, а потом еще домой возвращается. Но это все пустое. К нам в прошлую среду их начальник приходил, так он, знаешь, сам расстроился, когда увидел нас.

Вере Вячеславне становится смешно. Она, должно быть, всю эту сцену воспринимает со стороны: начальник, который шел торопить и ругаться, ошалевший в длинном темном коридоре, полном дверей; из-за каждой двери выбираются беспомощные перепуганные старухи – те самые "новоселы", нерасторопные, неблагодарные обладательницы ордеров на квартиры в шестнадцатизэтажных башнях, где-то там, за рекой, через мост, по песку, по лужам, по песку...

– А у вас есть кому помочь? Вы скажите, когда...

– Нет-нет! Спасибо! Не беспокойся, детка, нас перевезут.

Постучали в стену.

– Клавдия Викторовна...

Вера Вячеславна заторопилась в коридор. Она спешила тяжело и медленно. На плечах, горбом, высился толстый темный платок. Дверь осталась открыта, и слышно было, как она шуршит по коридору, как возникло где-то рядом новое пространство, и это новое пространство изменило звук коридорной пустоты. Я почувствовала, что рядом существует еще один мир – комната, где лежит Клавдия Викторовна, и вот сейчас в этой комнате они тихо переговариваются и даже как будто спорят. О чем? Как выглядит эта комната? Я никогда там не была. Я и к Ольге Васильевне не заглядывала ни разу, и к Наталье Андреевне... И, господи – до чего жалко! А поправить ничего нельзя. Даже если я сейчас же придумаю какой-нибудь повод... поздно... что-то в этом доме навсегда пропало, выстыло. Может, оттого они и завернулись, попрятались в шали – чувствуют холод натопленной комнаты. Где же он таится, этот холод? Отчего рассеялся привычный полумрак? Неужели и комнаты умирают, умирают раньше, чем их покинули люди, раньше, чем успели сдвинуть с места первую вазочку с отбитой ручкой, раньше, чем осыпался на пыльную доску комода цветок, увядший в прошлом веке... Все, что когда-то жило и дышало здесь, в теплых коричневых углах, утратило таинственную неясность, выставилось беспорядочно и жалко. Откуда-то – с улицы, должно быть, – набралась выморочная холодная синь...

Я вернулась домой подавленная и раздраженно отвечала на мамины вопросы. А мама возмущалась, говорила, что нельзя людей в таком возрасте трогать с места. И что надо бы хоть помочь им с переездом. "Ужас! Ужас! Где они возьмут деньги на переезд? И без того непонятно, как они сводят концы с концами. Разве что продадут что-то из своих старых безделушек, ведь это теперь – антиквариат!"

И я, содрогаясь от тоски, представила себе, как это будет выглядеть, когда понесут из их квартиры плешивые диванчики и трухлявые комоды, и станут сваливать на грузовик звенящие, рыхлые узлы, как явятся на слепящий уличный свет пожелтевшие портреты, изящно-строгие, полные глубокого достоинства и... усыпанные сзади рыжими точками тараканьего помета... И закачаются, замаются приткнутые в углу кузова аспарагусы и пальмы с надломленными в спешке листьями... А сами-то, сами они как поедут? В такси? Как повезут Клавдию

Викторовну? И что сделают с засохшими цветами? так и оставят? бросят? сметут на газету эти останки воспоминаний, на глазах рассыпающиеся в пыль... Зоя... Это будет Зоя. Она ловко подметет напоследок опустевшую каменную клетушку, мимоходом смахнет разорванную паутину в углу, и подумает, что комната была, оказывается, довольно светлая – и как им удалось заставить ее, захлამить до такой коричневой темноты? И Зоя хлопнет дверью, впервые за много лет в этой комнате стукнет дверь – пыльный ангел падет на паркет... Но Зоя не вернется. И никому не даст вернуться и посмотреть, что это так загрохотало: "Скорее, скорее, Вера Вячеславна! Такси давно ждет!" И не даст проводить тяжело разворачивающийся черный "Беккер" с мотающимися канделябрами... Да и что его, действительно, провожать: ведь не на кладбище же везут этот черный гроб, взывающий изнутри медным воем при каждом ударе о перила и углы.

И еще я представляла себе удивление грузчиков, когда дойдет очередь до новенького проигрывателя "Вега". С каким удивлением уставятся они на мощные стереоколонки: и зачем это бабкам такая аппаратура? Танцевать, что ли? И что за драгоценности завернуты в линялую скатерть, которую бородач с кольцом боится на секунду выпустить из рук...

Так я думала... А уже выпал снег, задрожали первые снежинки в синем окне, и снова возникла Верочка... Верочка отводила занавеску и смотрела в туман на темную удаляющуюся фигуру. Верочка догадывалась, что не любила его никогда. А просто дала себя вовлечь в эту семейную игру, где каждый исполнял свою банальную роль: радушный отец, тактичная мать, скромница-невеста и зрелый остроумный человек... трезво прикидывающий цену ее некрасивости... И вот теперь – не менее банальный – неожиданный отказ невесты... Не пожалеть бы ей когда-нибудь об этом! И что такое достоинство по сравнению...

Откуда это? С чего взялось? И могу ли я спросить ее: Вера Вячеславна, объясните мне, как случилось, что Вы не вышли замуж? Разумеется, нет. Но, может быть, она сама... как-нибудь в разговоре...

Я выбралась к ним не так скоро. Бумажка, на которой был записан новый адрес, затрепалась, буквы стерлись. Я не сразу додумалась обратиться к паспортистке ЖЭКа. Вечером, после работы, растрепанная и озябшая, я ехала за речку, через мост в рычащих от перегрузки автобусах. Я брела по снегу, заслоняя от ветра продрогшие цветы, и безнадежно тыкала прохожим бумажку с адресом.

Дверь мне открыл маленький мужчина в майке... Еще раньше, стоя за дверью, я знала, что их здесь нет. Но все-таки позвонила, все-таки спросила: "Здесь живет Опацкая Вера Вячеславна?" Из комнаты вышла женщина и трое мальчиков. "Вот и все", – подумала я и спросила:

- Давно вы сюда вселились?
- Давно. Сразу, как сдали дом.
- Тут две старушки должны были жить. И еще две – рядом.
- Вы, наверно, адрес перепутали, – засочувствовала мне женщина. – У нас – 10-б, а вы спросите в 10-а.

Я пошла в 10-а, по сугробам, по скользким цементным плитам. Высоко, до самого неба, светились окна. Я понимала, что они не могут здесь жить. Что-то было бы здесь, какой-то след, какая-то знакомая тень в этом воздухе, чистом и голом. И все-таки ходила от дома к дому, звонила, раздражалась от невинных запахов табака или борща, которые делали бессмысленными мои вопросы... "Две старушки – и еще две, рядом, через лестничную клетку"... Я описывала их девочкам, вышедшим из дому с коньками. Девочки нетерпеливо переминались, но им было любопытно, ничего подобного они в жизни не видали. Полно вокруг старух, но не такие, нет, таких здесь нет и вообще не бывает. Девочки ушли, переговариваясь и оглядываясь на меня.

– А мы в то время, детка, еще на Чеховской жили! Нам, знаешь, очень щедро давали квартиры, хоть каждой отдельно. На отдельную, правда, только Настя согласилась. Но потом мы поехали туда, посмотрели – и поняли, что это все-таки невозможно. Нас Глеб спас. Тебе он, наверно, Глеб Александрович. Так вот он добился в горисполкоме, ему какие-то списки дали, он весь город объехал, потратил целый месяц – и вот, подобрал нам эту квартиру. Мы так обязаны ему! Тут темновато, правда, но у нас все равно целый день горит электричество. И район замечательный, даже лучше, чем был у нас. С продуктами прекрасно.

– Вера Вячеславна, мне неловко спрашивать... я все думаю, как вы справляетесь?

– Что ты имеешь в виду, детка? Деньги или...

– И то, и другое.

– Сейчас, детка, много появилось служб, которые очень помогают таким, как мы. Из прачечной приезжают на дом, из магазина привозят продукты. Нам говорили, что они стараются всунуть все плохое – ничего подобного, они все лучшее привозят. Одежду я не покупаю, – она неловко умолкает. – Знаешь, как сейчас люди носят вещи... не носят, а так, надевают несколько раз, а потом выбрасывают. Мне знакомые приносят то, что им уже не нужно, и я с удовольствием беру... немного переделываю...

На ней свежее, опрятное платьице, синее с коричневыми цветочками, белоснежный воротник с широким рюшем приколот брошью.

– Прежде, знаешь, деточка, вещи лицевали, чинили...

Она говорит, как будто осторожно подсказывает мне что-то на всякий случай, на будущее, старается приободрить старуху, которой я когда-то буду. Что ж, действительно, можно жить, если удастся сохранить такой же ясный разум, если обрести умение так же спокойно принимать положенные по сроку невзгоды. Так устроена жизнь, и стыдно жаловаться на свою немочь, и низко высмеивать ее, над ней издеваться. "Я совсем одряхла. Больше никуда не выхожу, так что, если тебе не трудно, детка..."

На открытом проигрывателе стоит пластинка. Видно, его выключили, когда раздался мой звонок. Две пожилые женщины на диване – я сразу же забыла их имена – продолжают прерванный разговор. Они обсуждают книгу. Насколько я понимаю, книга написана о знакомом им человеке. "Нет, этого не может быть!" – "А я вам клянусь: они бросали друг в друга ботинками прямо в оркестровой яме..." В кресле возле "Беккера", под серовской "Девушкой в саду" сидит парализованная бабка в двух платках. Она все порывается встать и уйти, но ее усаживают. "Нельзя! У тебя же побрызгано!" Бабка недовольна и бурчит, бурчит... К ее словам не прислушиваются, привычно и терпеливо пропускают мимо ушей. А мне-то казалось, что я опаздываю, что упустила время, я звонила с колотящимся сердцем, а на том конце провода снова оказался – покой, все по-старому, и медленно себе толчется время... Ольга Васильевна, придерживаясь за стену, несет к столу вазу с яблоками.

– Вот тебе нож, детка.

– Видишь, какие прекрасные яблоки? Это нам привезли вчера. И вообще должна тебе сказать, наша семья была довольно богатая, отец был генералом, но питались мы гораздо скромнее, чем питаемся сейчас, хотя у нас и маленькая пенсия.

– Генералом?!

– Да, детка. А что тебя так удивляет?

– Я всегда считала, что отец ваш был певцом.

– Нет, детка, но он пел. У него был прекрасный голос!

Вера Вячеславна не может понять, чем я так огорчена. И я решаю: я не буду выпрашивать, подходить окольными путями, я расскажу ей о своем замысле, о поездке в Ленинград...

– Не знаю, детка, зачем тебе это. Пиши лучше о том, что пережила сама. О своем времени пиши.

– Но есть же на свете исторические романы...

– Ну ладно, спрашивай. Я даже не представляю, что тебя может заинтересовать.

Она немного напряжена, ей не совсем по душе эта идея. И у меня у самой вдруг деревенеет язык. Я чувствую, как вымученно сейчас заговорю. Да! Ничего у меня не выйдет! И все-таки я пересиливаю себя, произношу – ступаю в холодную воду...

– Про Шаляпина... Помните, вы рассказывали, как его артисты побили перед спектаклем за то, что он грубил и...

– Что ты! Что ты, детка! – пугается Вера Вячеславна. – Шаляпин – великий музыкант! гений! Он вспыльчивый был. Но об этом писать совсем не нужно! О нем новая книга вышла недавно, изумительная книга, почти обязательно! И к тому же он после этого пел прекрасно, как никогда!

– Ну ладно, – мысленно зачеркиваю я эпизод с Шаляпиным. Все равно, зачем он – раз в этой истории не участвовал Верочкин отец, раз не было на свете выдающегося тенора Вячеслава Опацкого...

– А Рахманинов?

– Что, детка, – Рахманинов?

– Помните, вы рассказывали когда-то, как они встретились... Вы тогда в консерватории учились... Прокофьев подошел и сказал ему: "Я вами очень доволен сегодня"...

– Ах вот ты о чем! Ну да, ну да, было такое. Это мне Кирилл рассказал. Помню, помню. Но с чего ты взяла, детка, что я училась в консерватории?

Стул подо мной плывет, плывет на подкосившихся ножках, но я удерживаю неизменившимся свое лицо.

– А где же вы учились? – продолжаю я, тяжким усилием подавляя неверные нотки в голосе. Так говорит человек, которого обидели и который скрывает свою обиду.

– Я занималась с частным педагогом. Прекрасный музыкант... он приходил на дом.

У Веры Вячеславны на лице – рассеянность, она отвечает мне, но про себя решает важный вопрос: не произошло ли когда-то нечто позорное; не обманула ли она когда-то ненароком людей, которые "нанимали" ее заниматься музыкой с детьми. Нет. Ей не в чем себя упрекнуть! Никто не спрашивал ее об образовании. А если попадался действительно способный ребенок, она сама настаивала на том, чтобы его отдали в музыкальную школу. Та же мысль созрела и у Ольги Васильевны, они обмениваются спокойными взглядами, Ольга Васильевна утвердительно опускает веки...

Я чувствую себя чуть ли не преступницей, но – на меня не сердятся, выжидающе смотрят, Ольге Васильевне даже интересно и явно хочется что-то рассказать. Я скручиваю жгутом бумажки с заготовленными вопросами.

– Я кончила только гимназию, детка.

– Почему же вы в консерваторию не поступили? Вы, с вашей музыкальностью, с вашей...

– У меня, собственно, была такая мысль. Мечта... – В улыбке ее – застенчивое извинение. – Но время так совпало... Я должна была идти сначала в училище, а для училища я уже была слишком взрослая. Понимаешь... оказаться вдруг среди детей... С этим, конечно, можно было и справиться... Но все равно, детка, в то

время везде надо было указывать социальное происхождение, а у меня с этим было скверно.

Она улыбается без грусти. Она разглаживает ногтем кусочек фольги от конфеты, так старательно, так по-детски... и все почему-то начинают следить за ее высохшими, жилистыми пальцами. Ольга Васильевна чистит яблоко и режет на дольки. Подсаживается с блюдцем к парализованной старухе, но старуха сердится, она не хочет яблока, она чего-то другого хочет. Как они только понимают этот отрывистый лепет?! Они берут старуху с двух сторон и тащат ее куда-то в коридор. Мне страшно: сейчас они хрустнут, эти сухонькие, сгорбленные спинки! – но они выдерживают и благополучно возвращаются с ней на старое место.

– Вера Вячеславна! А брошь вам в гимназии присудили?

– Какую брошку, детка?

– Ну вы рассказывали, где-то устроили конкурс, девушки играли, лучшей – дали золотую брошь...

– Нет, детка. Ты с чем-то путаешь. Не было такого. Ты же маленькая была, когда я к вам ходила.

Я не стала спорить. Я ясно помнила тот день. Зимой. Окно ломилось от солнца. Моя мама... Они говорили совсем о другом, о том, как зависть может испортить дружбу, и Вера Вячеславна вспомнила, как из-за этой броши лучшая подруга отвернулась от нее...

– А с Гнесиной вы знакомы через Ортоболевскую?

– Я не была знакома с Гнесиной, голубчик. А вот Софья Дмитриевна – самый дорогой мой друг! И Гурская, Варвара Леонидовна, – очень близкая приятельница.

Я поймала себя на том, что и Гурская стала казаться мне лицом легендарным, хотя когда-то в Москве она прослушивала мою сестренку. Впрочем, что мне Гурская? Разве что...

– А куда делся ее ученик – Сережа Дорожкин – помните такого?

– То есть что значит – делся? Сережа – профессор консерватории. Представь себе, такой молодой – и уже профессор! Он и гастролирует много. Просто он не старается всех ослепить своей техникой, как сейчас принято. Он и сюда приезжал не так давно. Играл Шуберта. Причем даже самые простые вещи. Прекрасно играл! Ты ведь знаешь, я никогда не понимала Листа с его трансприпциями.

Профессор. Ну и что? Что мне с этим делать? У меня устали щеки от вымученной улыбки...

Я очень обрадовалась, когда за мной приехал муж. Но он прихватил с собой нашего малыша, и мы опять надолго задержались. Мы пили чай с помадкой. Вера Вячеславна обсуждала с моим мужем какую-то книгу. "Прекрасная! Необыкновенная книга!" – все повторяла она. Я думала о своем, не прислушивалась, пока до меня не дошло, что речь идет о "Буранном полустанке". Вот чем Вера Вячеславна так горячо и задумчиво восхищалась! "Да, прекрасная..." Казалось невероятным то, что она прочла эту книгу, будто книгу прочел минувший век. Я пыталась глазами минувшего века, глазами кружевной старушки, генеральской дочки Верочки, увидеть все это яростно живое, раскосое... Я жалела, что разговор тут же и прервался. Мой сын освоился. Он стал расхаживать по комнате, рассматривал фотографии на стенах, заглядывал в книжные шкафы, таранился прямо в лицо грозному богу Веры Вячеславны: "Хорошая картина". Вера Вячеславна умилялась каждому его слову: "Подумать только! У тебя такой большой мальчик! Хороший такой! Глазастенький! Ты хочешь учиться играть на пианино, детка?" – "Нет, – сын покрутил носом, – не хочу". – "А музыку ты любишь?" – "Да, – ответил он. – Я люблю вот эту музыку" И фальшиво напел тему из третьей

части семнадцатой сонаты. "Бетховен? У тебя хороший вкус", – рассмеялась Вера Вячеславна. – "А вы умеете это играть?" – "Раньше я это играла, голубчик, а теперь не могу". – "Аа-а..." – кивнул мой сын.

– Я как-то была на концерте Рихтера, он играл семнадцатую сонату... Знаешь, ведь эта тема много раз подряд повторяется... и он играл каждый раз по-другому... необыкновенно! Я долго слушала про себя, все звучало в памяти... но потом – ученики выкололи...

И она как бы засыпает на секунду, как засыпала когда-то давно, в нашей тесной комнате, под деревянные детские пьески.

– Знаете, Вера Вячеславна, а ведь я только теперь поняла, какая это была мука – целый день слушать этюды Гнесиной! Я-то думала, что мука – только их играть.

– Гнесина, детка – прекрасный педагог. Но... Я как-то высказала Сонечке, Софье Дмитриевне, что пьесы у нее... не очень интересные. Сонечка считает, что они полезны для техники. Я все просила Сонечку составить детский сборник, выбрать красивые места из серьезных произведений... технически доступные, есть такие и у Моцарта, и у Бетховена, хоть бы эта же тема... Но Сонечка с маленькими не работала, ей неинтересно было. Я даже хотела сделать это сама, но так и не решилась.

– Ах, Вера Вячеславна! Сделали бы вы это – может, я бы и не бросила музыку.

– Да, жаль. Ты была способная.

Мой малыш заскучал, стал проситься на улицу. Вера Вячеславна вышла провожать нас, смотрела, как мы одеваемся, застегиваем пуговицы. Откуда-то просачивался запах хлорофоса.

– Кто эта женщина, больная?

– Это Настя, детка. Разве ты не знаешь?

– Настя?!

– Ну да, ну да, детка. Нам пришлось ее взять к себе. Понимаешь, у нас не было выхода: как раз накануне переезда ее разбил паралич...

Она расцеловала нас, передала привет маме и сестре, просила, чтобы мы зашли, когда сестра вернется. "Обязательно, обе вместе".

– Да! – оживилась она. – Может, тебе для чего-нибудь пригодится: мы жили в таком же доме, как вы. Это в Петербурге было, но один и тот же проект. И знаешь, в той же квартире, что и вы... Я очень любила бывать у вас. И даже с этим мальчиком, с соседом вашим – он очень неспособный был! – взялась заниматься только ради того, чтобы попасть в гостиную, там у нас гостиная была.

– А в нашей?

– В вашей – детская, – она в радостном напряжении подает вперед голову.

– Нас тоже двое было, две сестрички! Две сестрички...

* * *

Мы вышли на улицу, и я удивилась светлому накалу дня. Я чувствовала себя так, будто впервые вышла из дому после болезни. Легкости не было, – или это сыrovатая тяжесть старинного дома придавила меня? Дом был крепкий, с массивными балконами, перилами, дверьми. Улица огибала заднюю стену музея, красивая, безлюдная улица. Высокие желтеющие кроны деревьев смыкались над мостовой, мостовая упиралась в отгороженное заборчиком знобюще-голубое небо. "Осень, – подумала я. – Все дело в осени, ни в чем другом". Что ж, мой замысел рухнул, но... Длинная вдохновенная травинка пробивалась сквозь его руины. Выцветшая на осеннем солнце, она то взблескивала, то пропадала.

Я не оглядывалась. Мне не нужен был этот дом. Я поймала себя на том, что не помню, как они расставили на новом месте мебель, стоит ли возле кровати ширма... мне казалось, что я все вижу, а видела я, должно быть, прошлое – и, может, давно уже видела только прошлое... Ну и что ж? Разве я оценщик из комиссионного магазина, чтобы пересчитывать и взвешивать? Вещи – они ведь только вещи. Хорошо, что есть Глеб, когда-нибудь он пригреет и упокоит их. А мне останется нетронутой комната с серо-малиновым полумраком по углам, с вертящимися ангелами, роняющими с небес розы, засохшие в прошлом веке. "Ты пря-а-а-лоч-ка-а-мо-о-я-а-а"... "Прекрасная, прекрасная книга!"

Что я знаю о Верочке? Какая разница, кем был ее отец! И что гадать, как она попала в этот город, в эту комнату? Что вглядываться в давнюю кутерьму передней, вслушиваться в усталый звон колокольчика, в лихорадочное радушие смутного времени? "Господи! Проходите, проходите, Вячеслав Леонтьич, дорогой! Ну как вы? Скажите скорее, что в Петербурге!" Две девушки, неловко жмущиеся в передней... "Познакомься, Сонечка, это Верочка и Наденька, тоже прекрасные музыкантши!" – "Она простудилась в дороге..." – "Так что же все-таки говорят здесь..." – "Нет, Вячеслав Леонтьич, Скоропадский – не фигура..." Или, может, отец воевал в то время на Дальнем Востоке, и они приехали вдвоем, две сестрички. А, может, отец давно уже умер, и просто Наденьке необходимо было сменить климат? А она умерла все-таки, сразу же по приезде и умерла... И вот лежит теперь Наденька в сутолоке, в заросшей травами неразберихе старого кладбища, ждет, когда младшая сестра, сгорбленная, ссохшаяся старуха, юная Верочка, ляжет с ней рядом, как ложились когда-то рядом, плюхались, хихикая и дергаясь от холода... в той же комнате, где мы с сестрой, беззвучно смеясь, смотрели телевизор сквозь дырку в ширме. В соседней комнате, за кое-как забитой дверью, ссорились соседи, голоса их то удалялись, то звучали совсем рядом: ведь комната была очень большая, и голос Верочкиного отца широко расходился, ударялся в стены, возносился ввысь – и все звучало... а Верочка в облезлой рыжей шубе торопливо семеняла к нашему дому, предвкушая радость встречи. И позднее, когда мы переехали из старого дома, снова вернулась туда, взялась учить тугоухого мальчишку, который прятал ноты и пачкал клавиши пластилином. Она слушала голос отца, пока оттирали клавиши и бранили Славку. "Я очень люблю у вас бывать. Здесь все такое же! – Она обводила нашу комнатку восхищенным взглядом. – Даже рисунок паркета! Даже дверные ручки!"

Не этим ли она вызывала мое отчуждение и обиду? Я ревновала. Я чувствовала, что она – хозяйка в моей комнате, такая же, как и я, что моя комната заселена ее воспоминаниями. Она видела что-то по углам, что-то, чего не видела я, и я напрягалась, пытаясь различить в своей комнате смутные тени чужого детства. Пыталась услышать музыку, которую слышала она – слушала и загораживала, прикрывала от нас тонкими морщинистыми веками... И раз – и два – и три – и...

И только тогда, когда сама я ушла из этой комнаты навсегда и стала заглядывать в собственные окна, в которых горел чужой свет и двигались чужие силуэты, я поняла Верочку и признала ее права. Мы стали сообщницами, мы обе знали об этой комнате больше, чем люди, поселившиеся в ней, нам навечно принадлежали дверные ручки и крестики паркета, и мраморные плиты парадного... Ей тоже снится, будто она возвращается туда, в свою старую комнату, в детскую, прикрывает спиной гладко выкрашенную дверь, привычно подходит к окну и, положив локти на широкий прохладный подоконник, смотрит, как блуждают за стеклом непадающие снежинки... Смотрит в свое будущее – или в свое прошлое, которым когда-то случайно поделится со мной и которое, преломившись в ослепительном калейдоскопе детской памяти, станет частью, сказкой моей

жизни. "Я очень доволен вами!" И рука Рахманинова чуть задерживается на перилах... И Верочка опускает голову, быстро проходит мимо, прижимая к груди... К чему же мне теперь правда? Что изменит она?

Я просто позвоню. Спрошу, как здоровье, не надо ли чего-нибудь принести. А еще лучше – подойти сперва к Глебу и спросить, давно ли он был... И Глеб ответит мне со своей особенной приветливостью, и я поблагодарю его с таким же реверансом – не даром, не даром кружились над нами гипсовые ангелы, не даром звенели засохшие цветы... Я уже примеряю платье, коричневое, с оборчатый крахмальным воротником, коричневое платье, в котором, нелепая и обязательная, буду являться первая в одиннадцатом ряду партера, доживать свой девятнадцатый век...

ГИПЕРБОРЕЕЦ ОБУЧАЛ ГОМЕРА...

* * *

По Телецкому озеру
рябь, рябь.
А по гребням и скалам –
туман, туман.
Проступает из воздуха
дождь-хлябь,
Да курится за мысом
гора-Шаман.

Где стеклом вулканическим
гладь вод,
Чёрным-чёрного зеркала
глубина,
Словно лоб запечатал мне
хлад-лёд,
А душа и не знает
о дне дна...

Переплыть, переплавиться
след в след
За алтайской наядою –
ждать, жить! –
В ту страну, где не ведома
власть лет,
И в двойном одиночестве
знать-быть...

* * *

*«На диком берегу...»
К. Рылеев*

Снова коровы ревут.
Утро деревни.
С берега на Умреву
Тарской царевны
Тянется лугом фата,
А за туманом –
Вновь багрянится вода
Над атаманом.

И с Иртыша до Оби –
Тарой, Чулымом
Сколько назад не гребли
В неразделимом

Времени, сердце, огне
Вместе поныне –
В небе, в могиле, на дне,
В алой полыни,
В стане стальном Ермака,
В ставке Кучума...
Всех породнила река,
Родина, дума.

Вновь погружаемся, брат,
Дальный и вольный,
В перепелиный закат,
В пепел окольный.

* * *

Залив Таманский пепелен и нем,
Ржавеют листья, иней на ограде...
Лишь дрожь и мука желтых хризантем,
Как будто плач и просьба Христа ради.

Безотчий...
Отчего это со мной?
Песок серее самых серых буден.
Нам не уйти от жизни жестяной,
Не так ли, землячок Егор Прокудин?

Мир – без любви.
Сапожник – без сапог.
Эринии вопят, как на эстраде...
Эвксинский Понт шумит, как римский полк
Периода военных демократий.

КРЕСТ

На мраморном надгробии Геракл
 Был грозен, как Георгий-змееборец,
Но конь врага копытом не топтал,
 Копье искало славы, а не правды.
И камень, прихотливо накренясь,
 Стоял среди осколков Гермонассы,
Средь городка по имени Тамань,
 На берегу полуденного моря
Во дворике музея...
 Где-то здесь,
Неподалеку, ночевал поручик,
 И так же слушал мерный шум воды
И запах йода на осклизлой гальке,
 И древней тишины степную глушь...
Но тот поручик умер.
 Был застрелен.
 Давным-давно.

А кажется, вчера.
 Зачем я вспомнил?
 Жалость? Состраданье?

Нет, нет!
 Он так хотел. Он все узнал
 Столь рано, что не думал о протесте.
Протест ведь пустоте равновелик,
 А он был полон жизни, вечной жизни,
Хотя слова о жизни той пусты...

 Но есть деталь, что не дает покоя.
Там – в глубине музея, на стене,
Средь золотых монет Понтикапеи,

Лампадок, бус, ликовчиков, колец
И прочей бижутерии ахейской
Есть крестик. Я не видывал нигде
Подобного. Конец креста обломан.
Вершина же и левый луч – целы.
На них, в кругах, таинственные знаки.

Их ведали чеканщик и монах,
И всякий раб крещеной Византии.
Но суть не в них.
Внизу креста – Христос.

Католики, воспевшие распяты,
И муки, и поруганную плоть,
И Божьей кровью полные стигматы,
Взроптали бы, увидя этот крест.

Здесь нет распяты. Иисус нисходит
С вершины мук в сияньи и любви,
Неся перед собой живые руки,
Как бы желая даровать хлеба.

За ним овал златого ореола...
Крест позади. Его не миновать,
Но он остался знаком пограничным:
Преодолей, шагни, переступи!

Иди за мной, иди и не противься.
Распяты нет, есть радости завет.
Так мне внушали древние монахи,
Носившие под рясой этот крест
Еще до русских лет Тмутаракани.
.....
Молчат надгробья. А поручик спит,
Внимая Небу. Прах летит по ветру.

И лишь Геракл в порыве роковом
Не может отыскать достойной цели,
От подвига до подвига летит,
Пронзая ветер жалом копьевидным,

Не зная, что на траурном костре
Он в тунике отравленной истлеет
В жестоких корчах. Навсегда настигнут
Самим собой...

* * *

Грошика, медного грошика
Недоставало душе.
Прожито, всё уже прожито,
В опорожнённом ковше –

Только слезинка заветная,
Долгой любви исток.
Где ж моя денежка медная?
Что ли опять на восток

Катит сиротской дорогою
В сторону щедрой зимы –

Меж алтарём и треногою,
Мимо сумы и тюрьмы.

* * *

Ложь запамятовав двояку,
Зной на вертел дня нанизав,
Лечь у речки,
Обнять собаку
И следить сильфид в небесах.

А у ног – перекапноводно
Речки каменный клавесин.
Заплутать в девяти блаженствах,
И не ведая – что к чему,
Узнавать соловья – по жесту
И по запаху – тлен и тьму.

То бишь просто и без восторга,
Улыбаясь, как пёс во сне,
Пить по милости Коопторга
Солнце медленное на дне,
Да, на донце литых посуды,
Что ласкает моя рука,
Не заботясь: причём тут Путин,
Педофилы и ГубЧеКа.
Петь, мурлыкать полубормотно,
Оборотом родных осин,

Мир умён и сиюминутен.
Пёс мой спит.
Караван идёт.
А и вправду – причём тут Путин,
Соль

земли

Королевы

Мод.

АРИСТЕЙ

Гипербореец обучал Гомера –
Гласит молва.
Степи и звёзд сияющая сфера,
Ковыль-трава,
Пространство пожирающие кони,
Судьбы кудель,
И песня о прекрасном Аполлоне
У храма Дельф.

О, кто б ты ни был – ветренный хозяин
Златой стрелы,
Чей дух постиг эфир неосязаем,
Кто тело мглы,
Как трассером, поэзией пронзая,
Прошёл сквозь мир,
Чтобы живую музыку глотая,
Ахейских лир
Запели струны, скифии не помня,
Алтая вне!
Восстал, чтобы другой, героям ровня,
Слепой вполне!..

С тех пор летит стрела, летит, грохочет,
Грозя-свища!
Сверкает, чудодействует, пророчит,
Родню ища.

ТЕНЬ, БЕГУЩАЯ ПО ОБОЧИНЕ

Поезд отходил в ноль двенадцать от ЦОО. Ночной экспресс, который должен был доставить его к девяти утра в Мюнхен и после нескольких дней отпуска вернуть в привычное русло будней, каждый раз начинающийся мерзким, ударяющим в мозг десятком иголок писком будильника – ровно в шесть, потом чашкой наспех сваренного кофе, сонным бритьем, вечным страхом опоздать на электричку.

У него было в запасе полчаса, и он подошел к стойке бара. Чашечка кофе с рюмочкой коньяка, решил он, под занавес... И удивился сам себе: *чашечка, рюмочка?* Как мало порой требуется человеку, чтобы он начал меняться. Посибаритствовал несколько дней – *котлетки* там домашние, *ладушки...* *пельмешки со сметанкой...* вау... Понежили его на диване, нет на *диванчике* или даже: *на софе*, понежили, значит, как *котика* на расписной *подушечке*, и вот уже замыкал: *чашечка, рюмочка...* что дальше? а вот: *Танюсик, ку-у-ши-нь-кать...*

Он подумал о том, что правильно поступил, когда сказал Тане, чтобы она его не провожала. Она расстроилась, но, кажется, поняла. Нет, нет, она замечательный, необычный человек... но эти перронные расставания... они хороши, когда люди уверены, что встретятся вновь... Но тут же спохватился, что запретил себе думать о Тане, запретил сразу же, как только покинул ее квартиру. Им обоим нужно остыть, праздник не может... нет, иначе: праздник *не должен* длиться вечно, нужно погрузиться в привычную жизнь, и тогда все постепенно встанет на свои места... и... может, он вернется... даже наверное вернется... *на подушечку*. Он мотнул головой – резко, словно в знак протеста, и сделал судорожный глоток. «Слушай, ты, ин-телли-гент хе-ров, – медленно произнес он сам себе и тут же испуганно оглянулся, будто нечаянно выругался вслух, – во-первых, она – хороший и тонкий человек и вовсе не мещанка, тебе бы на нее молиться, но тебе же подавай натуру усложненную, ищущую... А Танька... она просто устала от одиночества и замечательная... а во-вторых, а во-вторых: я же запретил тебе о ней думать... разберись сначала с собой... Итак, что там у нас впереди? – он сделал большой глоток коньяка, – ага! Будильник в шесть утра, кофе, бритье, бег к электричке... б-р-р...»

...Пересадка на Восточном вокзале, где за полторы минуты с третьего пути нужно перебежать на четвертый, отчаянная попытка вернуться в недосмотренный сон – это пока электричка бежит до Тауфкирхен, потом новая пересадка и те последние десять минут, которые еще можно провести с закрытыми глазами, пока мягкий автобус везет таких же горемык по сонным улицам городка в сторону большой промышленной зоны... Последний поворот. Большой указатель: «Отто и сыновья». Приехали. Приветствие пожилого вахтера, всегда почти восторженное:

«Ага! Хэrrр Смирнофф! Доброе утро!» – и неизменно радостное: «Отличная погода, не правда ли?», и тем же самым тоном в иных обстоятельствах: «Ужасная погода, черт ее подери! Не правда ли?» – «Да, да», – со всем соглашался он, давно уже решивший для себя, что неизменно радующийся всему на свете человек требует такого же снисхождения, как и постоянно жалующийся и вечно недовольный жизнью.

Двенадцать скоросшивателей синего цвета артикула 234556, четырнадцать бежевых, артикула 234557, сто сорок конвертов розовых с целлофановым адресным окном артикула такого-то и двадцать четыре упаковки бумаги формата А4, белой, 80-граммовой артикула уже иного... Новый круг... «Пока земля еще вертится, пока еще яркое свет, господи, дай же ты каждому, чего у него нет... умному дай голову, трусливому дай коня...» В «кормушке» пусто – утром иногда мало заказов, значит – уборка, вывоз пустых картонных коробок, которые нужно перед тем распороть и распластать в лепешку... «Дай передышку щедрому хоть до исхода дня...» Тридцатиминутный обеденный перерыв, столовка – вкусно. Начинаются «горячие» часы. Четыреста тетрадей в линейку артикула... снова конверты... ручки шариковые, синие, простые – большая партия, двести штук, по десять ручек в коробочке, итого двадцать коробочек, у одной надорван бок, но ничего – сойдет... Отгружено... «Пока земля еще вертится, и это ей странно самой...» Снова бумага глянцевая, формата А3, сорок листов, завернуть. Развернуть. Глянцевая, но иного артикула – 345638, а не 345639... надо быть внимательней... снова завернуть... Срочный запрос с соседнего участка – скрепкосшиватели и дыроколы, по двенадцать штук в коробке, артикула... вроде, все правильно. Отправлено... Очередь у «кормушки», компьютер дал сбой... ура! Нет, уже выплевывает, гад, очередные накладные. Завтра взять с собой новую батарейку, а то звук плывет... Пятнадцатиминутный перерыв, кофе из автомата – противный... Обложки прозрачные для книг и учебников... семь видов, и каждого по семнадцать штук... черт бы их побрал... в фабричной упаковке лежит по пятьдесят штук, теперь отсчитывай...

Он заказал еще одну рюмку, до отхода поезда оставалось минут пятнадцать. Усмехнулся, представил тягучий голос из громкоговорителя: «Поезд по маршруту Берлин – Склад “Отто и сыновья” в Тауфкирхен под Мюнхеном отправляется»... Вагон специального назначения доставит его к проходной склада, и по красной ковровой дорожке он выйдет к улыбающемуся вахтеру. «Отличная погода, не правда ли?» Маленький оркестр, туш и Мартин, рыжий с козлиной бородкой и набриолиненной челкой двадцатилетний бригадир, протягивает Смирнову цветы. Они обнимаются. «На складе нужно хорошо работать, – шепчет Мартин ему на ухо, – четко работать и не путать артикул 1734562 с артикулом 1734652, verstehen Sie?»¹ А после работы можно посмотреть футбол или выпить доброго баварского пива, не так ли?».

Ему вспомнилось, как в студенческие годы к ним в институт приехал из Ленинграда артист Олег Горбачев. И хотя он исполнял многие главные роли на сцене Пушкинского театра и часто играл в кино, тем не менее, пожаловался публике, что с его внешностью «подлеца-доцента» ему не так-то просто получить роли, которые хотелось бы сыграть. К Мартину бы его в подручные... Тут, правда, одна только роль вакантна – простоватого рабочего склада, привычного к рутинному труду (и не знающего иного), молчаливого, исполнительного, но и готового позубоска-

¹ Понимаете?

лить в курилке... Ну а если он к тому же болеет за футбольный клуб «Бавария», то это уже полное попадание. Доцент здесь смотрится странно и некстати, сама интеллигентность чужда и подозрительна, особенно если «эта дама» плохо говорит по-немецки и далеко не первой свежести – так, скажем, чуточку за пятьдесят...

Он облегченно вздохнул, вспомнив, что завтра у него еще один день отпуска. Значит, все сдвигается на послезавтра – ранний подъем, дорога и бесконечное движение с тележкой между огромными стеллажами: артикул, цена, количество, в кармане нож для вспарывания пыльных картонных коробок...

Смирнов сделал последний глоток, расплатился за стойкой и направился в сторону перрона. Приветливый бармен окликнул его – «Ваши перчатки, хэrr...»

«Поезд... отправляется...» На самом деле никто ничего не объявлял. На больших вокзалах уже давно никто ничего не объявляет. Просто он вспомнил недавно перечитанный рассказ Бёлла «Поезд шел по расписанию» и героя, раздумывавшего – садиться ли ему в поезд, который повезет его умирать, или лучше сразу броситься под его колеса.

В ноль двенадцать ночной состав «Берлин-Мюнхен» плавно отошел от четвертого перрона берлинского вокзала ЦОО.

Сосед по купе распаковывал чемодан. «Брунн, – представился он. – Как вы сказали? Смирнофф? Ха! Русиш вотка? О!» И пальцем большим вверх – мол, гут! Смирнов, привыкший за четыре года жизни в Германии к этой избитой шутке, криво улыбнулся. «Водки вам предложить не могу, – продолжал тем временем Брунн, вытаскивая поочередно то тапочки, то разноцветные свертки... – а вот старого доброго французского коньячку мы обязательно выпьем». На столе вслед за пузатой бутылкой «Хеннеси» появились лимон и аппетитно смотревшаяся разнообразная снедь из ресторанного буфета. «Больше всего, хэrr Смирнофф, – с лица Брунна вдруг исчезла улыбка, – я боялся, что второе место в купе не будет продано, и я останусь без попутчика». И тут же, словно спохватившись, снова с улыбкой: «Так говорите, Смирнофф? Ха! Русиш вотка? О!» И он наполнил стаканчики.

Дома царил беспорядок, не нуждающийся в описании. Беспорядок есть беспорядок – грязная посуда, брошенные в углу носки, небранная постель – чего его описывать. Порядок – дело более деликатное и в каждом отдельном случае нормированное; оставленная, к примеру, не на месте шляпа или неожиданно появившееся пятно на ковре всегда вступают в противоречие с *порядком* и могут стать предметом размышлений, переживаний, поисков пути, дискуссий, наконец... Но не стоит углубляться в этот вопрос дальше, все равно – у Смирнова царил беспорядок, и без всяких дискуссий и переживаний ему было понятно, что нужно просто делать уборку. Но сначала – и непременно – принять душ. И вообще очухаться, потому как выпито было в поезде с господином Брунном почти две бутылки. Как это произошло, вспоминать не то чтобы не хотелось, но просто не представлялось возможным. Он помнил начало, помнил отдельные клочки, по-видимому, из середины, в частности, как его выворачивало в туалете, и какую-то холодную трубу, наверное, там же, о которую он терся лбом, помнил и конец – когда проснулся совершенно одетый (значит, так и свалился, пьяный), проснулся уже на платформе в Мюнхене от стука в дверь. Брунн еще спал, Смирнов крикнул ему, что приехали и нужно срочно вставать, потому как состав сейчас отгонят неизвестно куда. Он лихорадочно надел куртку, схватил сумку и бросился из вагона. «Хэrr Брунн, – на ходу показал он рукой в сторону купе проводнику на платформе, – спит...» – «Хорошо, хорошо», – ответил тот и направился в вагон, и по его лицу Смирнову стало ясно, что их ночное развлече-

ние не осталось незамеченным. Дождаться Брунна не хотелось – в голове, во рту и в животе творилось такое, что полностью парализовало работу тех органов, которые у человека ответственны за чувства и сознание «учтивости». С другими органами было не лучше...

Душ принес некоторое облегчение, но было ясно, что страдать придется еще до вечера. Сначала нужно сварить кофе, решил он, потом сбегать напротив в Пэнни-маркт за едой и... потом все равно придется браться за эту чертову уборку.

«Баварский президент-министр Штойбер, – раздалось из включенного им радио, – предложил новый пакет мероприятий по экономии средств в условиях кризиса...» Эспрессо-автомат зафыркал, выдавливая из своих резервуаров в стеклянный ковшичек горячий ароматный напиток. «По сообщению ведомства труда, уровень безработицы за последний месяц оказался выше...» Он выключил кофейный автомат и потянулся к полке за чашкой. «Сегодня в ночном экспрессе Берлин-Мюнхен был убит известный берлинский адвокат Брунн. Тело его обнаружено проводником вагона. В настоящий момент на Главном вокзале Мюнхена ведутся полицейские расследования, в связи с чем частично нарушено расписание отправления поездов...» Чашка звонко стукнулась об пол и разлетелась на мелкие кусочки. «Сегодня в Мюнхене ожидается сырая...»

«Какой Брунн? Убит...», – глухо выдавил из себя Смирнов. Он машинально прибавил громкость, но сводка новостей уже закончилась. Он бросился к телевизору. Пресс-секретарь криминальной полиции, рослый красавец средних лет, которого на эту должность, судя по всему, назначили за его роскошные усы – как лоза разбегающиеся в противоположные стороны, симметрично поднимающиеся за кончиками губ сантиметра на три вверх и заканчивающиеся с каждой стороны двумя аккуратными ажурными колечками, как раз формулировал свое сообщение перед направленными на него камерами: «...Господин Брунн найден с признаками удушения. По предварительным данным, смерть наступила около четырех утра. По показаниям проводника, пытавшегося на подъезде к Мюнхену разбудить господина Брунна и следовавшего в том же купе пассажира, дверь купе была заперта изнутри. Это дает следствию основания предполагать, что убийство было совершено попутчиком господина Брунна. Ни личность подозреваемого, ни мотивы его действий полиции пока не известны. Все, что можно сказать на данный момент, что речь идет об иностранце с плохим немецким произношением, среднего роста, вышедшем из поезда в куртке синего цвета с черной спортивного вида сумкой в руках. Скорее всего, он был знакомым господина Брунна, поскольку первую половину ночи они провели в шумном застолье. В настоящий момент составляется фоторобот подозреваемого, криминалисты продолжают изучать место преступления».

На этот раз его выворачивало сильнее, чем ночью в туалете. Он рухнул на колени перед унитазом, все его внутренности скручивало жгутом, но спазмы не приносили облегчения: ничего, кроме рычания и стонов, не вырывалось из его горла. С третьей попытки организм выплюнул какую-то желтую вонючую слизь, тотчас покрылся испариной лоб, он откинулся спиной на край ванны. «Брунн убит, – стучало в висках, – задушен в закрытом купе, иностранцем... каким еще иностранцем? Иностранцем, который ехал с ним и который ушел в синей куртке и с черной сумкой в руках». Он сидел на полу ванной и сквозь открытую дверь видел и брошенную в прихожей сумку, и висящую на крючке куртку. «Все сходится... Только ведь я никого не убивал... Тогда кто же?» И тут же облегченно вздохнул: проводник! Только он мог открыть ночью купе и задушить Брунна. Но зачем? Старый он, хотя морда у него сволочная... Не мог

вовремя разбудить... «Ой! – почти завопил он, взявшись за голову, – он не мог нас вовремя разбудить, он же не мог войти – дверь была на внутренней защелке! Я же ее своими руками откинул, когда убежал... мама родная...» Он с трудом поднялся и снова перебрался к телевизору. Вместо усатого полицейского показывали рекламу зубных щеток. Он стал перебирать программы – ничего. По радио – везде музыка... Он вылил остывший кофе в раковину и стал заваривать новую порцию. «Я пьян, все еще пьян... Как это называется? Белая горячка? Бред наяву... Такого со мной еще никогда не было...»

«Баварский президент-министр Штойбер, – раздалось из радиоприемника, – предложил новый пакет мероприятий по экономии средств в условиях кризиса...» – «Ну же..., – поторапливал он диктора, – дальше что?!» – «По сообщению ведомства труда, уровень безработицы...» – «Хрен с ней, с безработицей... дальше, – почти кричал он, – про Брунна давай!» – «Сегодня в ночном экспрессе Берлин-Мюнхен был убит известный берлинский адвокат Брунн. Полицией открыто уголовное дело». – «То-то», – почти с облегчением вставил он, не уверенный, что белая горячка хуже обвинения в несовершенном убийстве. «К одиннадцати часам закончены следственные мероприятия на месте преступления. План отправления поездов с Главного вокзала к настоящему времени восстановлен. По сообщению пресс-секретаря криминальной полиции... («Это усатый с колечками», – машинально отметил про себя Смирнов.) ...главным подозреваемым является попутчик убитого, личность которого устанавливается. Через полчаса полицией будет представлен фоторобот подозреваемого. Его основные приметы: иностранец с заметным восточноевропейским акцентом, на вид около пятидесяти лет, роста чуть ниже метра семидесяти, плотного сложения, волосы каштанового оттенка, небольшие усы. Покинул поезд в куртке синего цвета и с черной спортивного типа сумкой в руках. Все, кто располагает сведениями о подозреваемом, могут обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону... Сегодня в Мюнхене ожидается сырая...»

«Белая горячка отменяется, – подумал Смирнов и с удивлением стал рассматривать свои руки, – но зачем я его задушил? Напился до невменяемости? Мы с ним поссорились? Он оскорбил меня? Посмеялся, что я, кандидат технических наук и доцент, специалист по аэродинамике, теперь работаю на складе?... Чушь! Я ничего такого не помню. Помню, что он, действительно, много расспрашивал, о себе почти ничего не говорил... А! Ему нужен был собеседник, собутыльник... Он же сказал, что боялся, что в купе окажется один. Значит, ему было плохо и он нуждался в собеседнике. Но про себя ни слова... Все время расспрашивал и наливал, снова расспрашивал и наливал... Боже! Зачем я ему рассказал про Таню и про поездку в Берлин?! Как можно такие вещи рассказывать случайному встречному? И про сына... Теперь я начинаю вспоминать... я рассказал ему все – и даже про новую аэродинамическую трубу у нас на кафедре, которую я так долго ждал, чтобы продолжить свою докторскую работу, и про козны Тошачкова, и, кажется, про то, как ее, наконец, начали монтировать, когда подобные исследования были уже проведены не только на Западе, но даже и в нашем родном отечестве, проведены теми, у кого давно были эти хреновы трубы... А у нас с Леной на руках уже были эмиграционные визы... «Все вылетело в трубу», – отшучивался я. Господи, зачем я все это рассказывал? И вообще все... все, что скопилось на душе... и про склад, и про Мартина, и про то, как унижал меня, пока я не пошел работать, чиновник в социальном ведомстве... и про Лену с Маттиусом... Откуда у меня столько немецких слов-то взялось? И потом меня вырвало в туалете – от выпитого и выболтанного... И получается, что потом я закрыл дверь на защелку и задушил его... потому что он задел за живое и равнодушно подливал еще и еще... Я вернулся... он заснул, храпел, наверное, очень противно... я взял подушку и положил ее сверху... и тем самым

расквитался и с Мартином, и с тем социальным чиновником, и со всеми неудачами моей личной жизни... И с этим жирным адвокатом – так ему и надо! Наверное, в самой сути эмиграции изначально лежит грех, и так или иначе человек за него расплачивается... Стоп! Что я говорю? Что значит: так ему и надо?! Ни-ко-го-я-не-ду-шил! Ни-ко-го! Но ищут-то меня...» Дрожащей рукой он поднес, наконец, ко рту чашку с кофе. «Снова усатый с колечками в телевизоре...» – он поставил чашку назад и прибавил громкость.

«...До сих пор неизвестна цель, с которой господин Брунн отправился в Мюнхен. Он не предупредил об этой поездке ни родных, ни сотрудников своего бюро. К настоящему времени мы располагаем отпечатками пальцев подозреваемого и составленным по словам очевидцев его портретом. Полиция объявляет награду в размере пяти тысяч евро за сведения, которые могут помочь в задержании подозреваемого». На экране появился рисунок – человек с усиками, большими залысинами, прямым носом... «Это не я!» – облегченно вздохнул Смирнов. «Хотя... – он приблизился почти вплотную к телевизору, – как эскиз, первый набросок художника-дилетанта к моему портрету... Господи! За меня уже и награда объявлена!»

Телефон зазвонил так неожиданно и резко, что у него перехватило дыхание и снова выступила испарина. Он осторожно глянул на дисплей, высветившийся номер телефона был ему хорошо знаком. Он поднял трубку.

– Ну что, приехал? Чего не звонишь? Давай рассказывай, как тебе Танечка... понравились друг другу?

– Серега, погоди... тут такие дела...

– Ты только с самого начала не усложняй, ты ведь с каждой женщиной начинаешь усложнять, накручивать – душа... искания... лирика... романтика... а потом все лопается по непонятным причинам... Тебе уже давно пора реалистический сюжет искать, а ты все от сюрреалистической формы балдеешь... Кстати – ты на себя в зеркало давно смотрел? Чего ты еще ищешь? Я видел ее фотографию – симпатичная, стройная, как ты почему-то любишь, и, кажется, не дура, как ты, опять же, почему-то любишь; вы же с ней переписывались и пере-званивались уже полгода... чего тебе...

– Серега, меня полиция ищет... за убийство...

– Ты че, Колька, охренел? Таньку, что ли, пришел в любовном экстазе? – И он громко расхохотался в трубку.

– Нет. Говорят, я адвоката в поезде задушил. Мы с ним пили полночи, а потом я его задушил. Пять тысяч вознаграждения объявлено.

– Так позвони в полицию, пусть они тебе и выплатят эти пять тысяч. – И он снова захохотал. – Коль, ты случайно не пьян? Или того... мозги от встречи с Танечкой расплавились? У влюбленных, говорят, бывает...

– Включи телевизор, – буркнул в ответ Николай и повесил трубку.

Он посмотрел на себя в зеркало. Ладно, пусть Серега не преувеличивает. Для своих лет он был еще вполне... Ну залысины от висков пошли вверх... так они и у молодых... Брюшко вот начало чуть выдаваться, это непорядок. Усы! Зачем мне усы? Они и старят меня... Почему-то вспомнилось некогда рассмешившее его из «Советского энциклопедического словаря»: усы – *волосы над верхней губой у мужчин, вторичный половой признак*. Почему его надо выставлять на обозрение, этот признак? Первичный же никто не выставляет... Кстати, он у меня и не такой красивый, как у этого... в телевизоре... И недолго думая, он отправился в ванную и начал сбривать усы.

Телефон снова зазвонил слишком неожиданно и визгливо. На дисплее был номер Сергея.

– Ну посмотрел я телевизор, там фоторобот показывают – какого-то ханурика с усиками как у тебя и еще у миллионов других. Ну и что?

– Сережа, в купе с Брунном был я, мы пили всю ночь и проспали приезд в Мюнхен, я выскочил спешно из поезда и попросил проводника разбудить его, но Брунн был уже мертв, задушен...

– Кем?

– Вроде как бы мной... купе было закрыто изнутри, проводник стучался к нам, пытался будить...

– А за что ты его? О, нет-нет, погоди! Чушь собачья: ты и убийство! Но тогда кто?

– Вот и я спрашиваю... кто?

И тут Сергей рассмеялся.

– А что ты так переживаешь? Дадут тебе не больше восьми лет, отсидишь максимум три (тут больше никто не сидит); тюрьмы здесь, кстати, гуманные – телик будешь смотреть, в спортивном зале на турнике оттягиваться, к Таньке в Берлин в отпуск прокатишься, а после отсидки сразу на курорт путевку получишь – как душевно травмированный пребыванием в заключении... ну и, конечно, – всякие там пособия, комнатка в пансионе, пока на работу не устроишься... Ты же в Германии, чудик... Чего ты молчишь? Ну чего ты молчишь? Ты чего – серьезно, что ли, с этим Брунном ехал? Ну погоди, но тогда... есть же простой выход – пойти в полицию и все рассказать. А там разберутся.

– Ты прав, но... а вдруг это я? Мы были пьяны, и он... он не нравился мне, все лез в мою жизнь и наливал по новой, так покровительственно – мол, пей бедный кандидат наук, складская букашка, соискатель свободной руки стареющих соотечественниц... Нет, этого не может быть! Какое там убийство? Муху еще могу хлопнуть, и то если слишком достанет... Но может, это все подстроено, и я ничего не смогу доказать? Явлюсь в полицию, и они вполне удовлетворятся сложившейся версией. И мне крышка! Нет уж, пусть лучше ищут, роются, не расслабляются – и тогда точно выйдут на следы настоящего преступника. Вот тогда я к ним и приду.

– А ты не думаешь, что тебя уже сейчас по этому самому фотороботу может кто-то признать?

– Ты не звони сюда больше, Серега. И на мобильник тоже. И главное – мы с тобой не разговаривали. Не видел и не слышал меня, понял?

– Ты что, с ума сошел? Что ты затеял?

– Лишился вторичного полового признака.

– Думаешь, кастрата помилуют? Колька, ты чего несешь? Крыша совсем поехала? Брунна какого-то на себя повесил... Во придурок... Слышь, ты где? Не молчи...

Но Николай положил трубку, потом и вовсе выдернул телефонный шнур из розетки и выключил мобильный телефон. Теперь он двигался несуетливо и уверенно: почистил зубы, переоделся, уложил в рюкзак кое-какие вещи, достал из шкафа серый плащ и кепку, присел на дорогу, потом что-то вспомнил, зашел в кухню, вылил в раковину так и не выпитый кофе и вышел из дома.

«...Господи, дай же ты каждому, чего у него нет... умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня...» Обрывки мелодии перемежались с лихорадочно несущимися мыслями: «Значит, часа через два они могут быть уже здесь... Кто-нибудь меня узнает или уже узнал... Кто-нибудь... Да Мартин и будет первым... У него в подсобке вечно телевизор включен... Таня... я ей так и не позвонил, а обещал сразу же, как только вернусь в Мюнхен... Никитка...» При мысли о сыне у него на душе стало так тоскливо, что он остановился. Зажмурил глаза, вытер набежавшую слезу, тяжело выдохнул и, прикрывая рукой ставшую чувствительной к малейшему дуновению ветра непривычно голую верхнюю губу, быстрым шагом направился к метро. Никакого конкретного плана у него пока не было.

Они подъехали через три с половиной часа на четырех машинах, тихо, без сирен и мигалок. Четверо полицейских сразу стали огибать дом, чтобы блокировать выход из него через двор, еще четверо вошли в подъезд... Как они и предполагали, в квартире уже никого не было, собака взяла след, который, однако, потерялся у входа в метро...

Весь день она старалась быть недалеко от телефона. Звонила мама, дважды звонила Анька, которой непременно хотелось узнать, как там у них с Колей прошло и чем кончилось. Первый раз от нее удалось отделаться быстро, но вечером немного нервничавшая Таня уже и сама была не против поговорить с подругой. «Ну давай колись, – как всегда с места в карьер взяла Анька, – как смотрины прошли, поженитесь или как?» – «Или как... не приставай!» – «Поссорились, что ли?» – «Нет... но ты разве не понимаешь, что такие вещи сразу не решаются...» – «Танька, очнись! Тебе сорок два, ему за полтинник... Год как голубки переписывались и по телефону ворковали...» – «Мы не ворковали, а разговаривали, и не год, а полгода всего». – «Его баба кинула, с сыном практически разлучен, твой – где он там, в Семипалатинске спился, ты посмотри, какая ты стала худая – как вешалка, куришь без остановки; оба несчастные – что вам еще надо? Еще год будете по телефону мурлыкать? Или снова объявление в газету дашь: *не очень молодая, но все еще интересная женщина ищет доброго, порядочного, без вредных привычек...*» – «Прекрати! Я не хочу говорить на эту тему». – «Ясно, Танька. Старейшему столичному лорду, остепененному доценту, временно, правда, исполняющему обязанности рабочего на занюханном складе канцелярской дряни, не подошла золушка из Семипалатинска. А что же он у тебя целую неделю делал? Нахал!» – «Да нет, Ань, все не так... Неделя пролетела... мы не заметили...» – «О! Это уже другое дело, – тут же сменила тон Анька и захихикала, – это я вполне понять могу, как медовые денечки быстро пролетают... эх... давно это было... позавидуешь некоторым...» – «Да погоди ты... без пошлостей... погоди, я закурю, – и после второй глубокой затяжки продолжила, – он много страдал в жизни...» – «А кого тут волнуют галоши Франца-Иосифа?» – «Чьи галоши, Аня?» – «Ладно, проехали... ну страдал в прошлом, а сегодня – настоящее... двадцать первый век... слышала?» – «И он очень привязан к сыну...» – «Слушай, а может, он бабу свою забыть не может?» – «Давай, во-первых, договоримся, что не будем называть ее бабой. А во-вторых, да... и это тоже, он этого не скрывает. Он говорит, что если человек любил глубоко, по-настоящему и был какое-то время счастлив, то это остается навсегда, независимо от того, как развиваются дальше события. А если при этом зарождается семья, то любовь – остывающая она или раненная предательством – все равно живет, только в иной форме... Нет, погоди, он это тоньше формулировал. Одним словом: разрушается то, что есть влюбленность, и остается навсегда то, что уже влюбленностью порождено – родственность, близость, и особенно та, что спаяна рождением ребенка... Да, его жена ушла к другому, и этот другой, немец, к стати говоря, так вот... этот другой занимается воспитанием его сына, и все это ранит его сердце. Но он говорит, что после смерти родителей из родных людей у него только сын, сестра и бывшая жена. И заметь, никогда не говорит о ней плохо...» – «Слушай, Танька, а ты книжку “Идиот” читала?» – «Знаешь Ань, я уже и сама пожалела, что рассказала тебе это. Ладно, мы долго занимаем телефон, а он обещал позвонить». И она, не прощаясь, положила трубку. Будильник показывал четверть десятого вечера. В половине второго она с трудом заснула. Нет, она уверяла себя, что старалась не плакать, это глаза сами почему-то становились влажными.

Телефон разбудил ее в семь утра. «Коля!» – радостно выдохнула она в трубку. «Фрау Овсеева? – голос в трубке был женским, незнакомым, высоким, и не

предвещал ничего хорошего. Говорили по-немецки. – Это говорит фрау Поль, 43-я инспекция при полицейском президиуме Мюнхена...»

«Неистов и упрям, гори, огонь, гори... на смену декаблям приходят январь... Нам все дано сполна – и радости, и смех... Одна на всех луна, весна одна на всех... Неистов и упрям...» Он проснулся. «Шурик, ты тоже Окуджаву постоянно слушаешь?» – «Не то чтобы постоянно, но слушаю. Душу очищает... Особенно с бодуна... – Шурик улыбнулся. – Кофе готов, вставай».

«...Теперь по делу об убийстве адвоката Брунна, – фрау Поль, средней упитанности дама лет сорока, поправила очки, открыла синюю папку и разложила перед собой бумаги. – Присутствующим известно, что все подозрения падают на попутчика убитого, личность которого была установлена еще вчера к трем часам пополудни. Это Николай Смирнов, тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения, уроженец Москвы, гражданин России, проживающий в Германии со статусом контингентного беженца. Разведен, имеет сына восьми лет. Место проживания: Мюнхен, Мильбертсхофен, Леоштрассе, 52. В настоящее время работает на генеральном складе фирмы «Отто и сыновья». Федеральная судебная палата, Бонн... – она взяла в руки зеленый бланк, – регистрационных записей о судимостях или правонарушениях не имеется. По месту работы характеризуется как исполнительный и надежный сотрудник; пока мы располагаем только устной характеристикой, данной бригадиром подозреваемого хэрром Мартином Шварцем; шеф там болен. В Берлине Смирнов находился в период отпуска, по личным делам, останавливался у фрау Татьяны Овсеевой, тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения, уроженки Семи... палати... новска... поздней переселенки, в настоящее время гражданки Германии, – она отложила бумаги в сторону и сняла очки. – Я разговаривала с ней сегодня по телефону. Они познакомились через службу знакомств полгода назад, потом решились на личную встречу, он пробыл у нее неделю и вернулся в Мюнхен. Ни о каком адвокате Брунне ни разу не упоминал. Ничего такого, что могло бы предвещать последовавшие события в поезде, она не заметила. Он был взволнован их встречей, и даже отягощен, судя по всему, какими-то раздумьями, но фрау Овсеева связывает это с его сугубо личными и вполне понятными в подобной ситуации переживаниями. Разумеется, это был нелегкий разговор, мой звонок глубоко шокировал эту даму, но, тем не менее, мы договорились, что сегодня наши берлинские коллеги посетят ее и возьмут официальные показания».

«И теперь, пожалуй, главное, – она снова вытащила из папки несколько листов, – в результате вскрытия судебно-медицинской экспертизой установлено наличие яда в организме убитого. – Она сделала паузу и обвела глазами присутствующих. – Копии этих документов получит каждый, потому отмечу только, что данный яд – точный его химический состав и описание обещаны экспертами к трем часам – поражает органы верхних дыхательных путей, что создает ту внешнюю картину, которая и позволила нам думать о насильственном удушьи. Экспертиза спальных подушек, одна из которых, как мы полагали, послужила орудием убийства, также ничего не дала в подтверждение этой версии. Никаких повышенных выделений слизи оболочки рта...»

Она посмотрела на часы. «Яд попал в организм за четыре минуты до смерти, а это значит в 3:56 утра. Попал с едой или напитком. Судя по экспертным заключениям, погибший принял большую дозу алкоголя. У меня все. Хэрр Фальц, вы, как мне кажется, хотите что-то сказать...»

Долговязый, светлобрый Фальц, косившийся все это время, как ему представлялось – незаметно, на новенькую коллегу – смуглолицую практикантку Шерр,

поднялся с места с готовностью человека, давно ждавшего этой минуты: «Да, да, фрау Поль... Я, как и все мы, в некоторой растерянности... мы объявили хэрра Смирнова подозреваемым в злодейском убийстве, поддались эмоциям – закрытая дверь купе, подозреваемый быстро покинул поезд и перрон, потом бежал из квартиры... мы объявили за него вознаграждение! А теперь нам нужно разбираться, с чьей помощью яд попал в организм адвоката Брунна. Дальнейшее расследование должно быть, как полагаю, разделено на две генеральных версии: убийство и самоубийство».

«Именно это я и ожидала услышать от вас, хэрр Фальц. То, что подозреваемый пустился в бега, говорит на первый взгляд в пользу версии убийства. Однако... – ее взгляд остановился на молоденькой практикантке, – однако... даже фрау Шерр тут ясно, что должны быть тщательно проработаны все возможные версии, и слава богу, что у нас их не так много. В три часа мы заслушаем сообщение лейтенанта Ферна, работающего со вчерашнего дня в Берлине в бюро Брунна. Если он не успеет закончить дела и вернуться, даст подробное сообщение по телефону. Это всё».

«Хэрр Фальц, – окликнула она вдогонку, когда сотрудники покидали ее кабинет, – убийство или самоубийство, а ваша задача – искать исчезнувшего Смирнова. Фрау Шерр, вы уж поддержите коллегу». И она снова уткнулась в бумаги.

Николай сидел в поезде. «Надо унять дрожь – в конце концов! В кепке и без усов я похож на миллионы других, которых можно заподозрить в сходстве с разыскиваемым. Не будут же каждого хватать за грудки...»

Два часа назад он покинул Регенсбург, оставив тактичного Шурика в полном недоумении – «Зачем приезжал Колька? Нагрюнул вечером без предупреждения, извинился: только переночевать... Разбитый какой-то, потерянный... Говорит, что просто устал и захотел развеяться, куда-то съездить, посидеть вечером со старым приятелем – год не виделись или больше?.. Посидеть... Выпил рюмку и руки затряслись, почти ничего не ел и молчал... Спросил его о самочувствии – он на сердце пожаловался: давит там что-то... Посидели, одним словом... Старая рана раскрылась? Развод-то свой он очень тяжело пережил... Или какая новая драма?.. Денег попросил в долг; сказал, что потерял банковскую карточку. Зачем ему пятьсот евро? Не за ними же он из Мюнхена приезжал...»

Николай сидел в плаще, не снимая кепки. «Я похож на миллионы других, – повторял он про себя, – я похож на миллионы других... и на Шурика, и на Серегу, и вон на того угрюмого немецкого биндюжника, что сидит у окна... Но ни Серега, ни Шурик, ни даже этот угрюмый никого явно не душили – ночью, в закрытом изнутри купе... почему же я? Я похож на миллионы других... в кепке и без усов...» И зачем-то для убедительности добавил: «И кстати – я работаю...» Но тут же спохватился: «Или уже нет? Я же не вышел сегодня на работу...» И он подумал, что много бы дал, чтобы оказаться сейчас на складе, идти с тележкой между стеллажами по привычному маршруту, вместо того, чтобы бежать непонятно куда и зачем.

Неожиданный поворот мысли несколько отвлек его; ему вспомнился склад – длинные, метров по триста, проходы между высокими стеллажами, на которых лежат сотни видов канцелярской продукции, компьютер-«кормушка», распечатывающий поступающие заказы, большой участок упаковки, суетливая гавань – так называл он то место, где разгружались-нагружались автомобили... Он представил вдруг лицо толстой и всегда приветливой автокарщицы и единственного его тамошнего приятеля Гарди, молодого курда из Ирака. Даже рыжий Мартин

показался ему сейчас не таким уж противным. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она...» – кстати-некстати пришло на ум из Пушкина. И он уже в тысячный раз принял размышлять на большую тему: «Нечего нос воротить, склад так склад... Лучше просыпаться и скулить, что пора идти на эту работу, чем лежать без сна и думать, что же я буду делать, когда наступит утро...» Попасть на склад было тоже не совсем просто. Хотя, когда его туда направили, он по наивности спросил: «Как на склад? А кем? Инженером по технике безопасности?» – Ему иронично улыбнулись в ответ: «У вас есть соответствующий немецкий диплом или большой стаж работы в Германии?» – «Нет, но я бы мог поучиться на каких-нибудь курсах... как другие...» В ответ перестали улыбаться: «Другие? Может быть, они помоложе или уже работали в Германии и платили, в отличие от вас, налоги?..»

«Опустите, пожалуйста, синие шторы... медсестра, всяких снадобий мне не готовь... вот стоят у постели моей кредиторы – молчаливые Вера, Надежда, Любовь...»

«Зонненберг, подъезжаем», – объявил, проходя между рядами кресел, кондуктор. Николай, только что прикрывший глаза, вздрогнул. «Надо отвлечься, – уговаривал он себя, – перестать всего бояться, перестать вздрагивать и постоянно думать об этом».

«Виноградную косточку в теплую землю зарю, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою... А иначе – зачем на земле этой вечной живу...»

«Никитка!» – вдруг сжалось все внутри. Поезд остановился. Николай опрометью бросился к выходу. Сейчас в квартире никого, быстро сообразил он, Лена на работе, Маттиус ее тоже, Никитка придет из школы через полчаса. Знает ли он про его бегство? О том, что его ищет полиция? Наверное, нет. Лена бы этого не допустила...

Через полчаса он снова ехал в поезде, уже в другом. Ему стало легче, теперь он меньше оглядывался по сторонам и реже вздрагивал от неожиданных звуков. Он смотрел в окно и представлял, что именно сейчас сын приходит домой, вот он открывает дверь... бросает на пол рюкзак... ничего с этим не поделаешь – никогда его не вешает, а бросает на пол, стягивает куртку, теперь проходит по коридору, телефон впереди слева... мигающее зеленое пятнышко – его видно издалека, нажимает кнопку... папин голос... папа любит его, задерживается в отпуске, но скоро придет, и они снова пойдут в Макдоналдс и потом в зоопарк... «Й-а-а! – вскрикивает Никитка. – И мороженое!» Он прокручивает эту картину перед глазами снова и снова, пока не засыпает глубоко и безмятежно, как не спал уже давно.

Он не боялся проспать станцию, сбиться с пути. Со школьной скамьи он помнил, что все поезда идут по одному и тому же маршруту: из пункта А в пункт Б. Пунктом А была для него Москва, откуда его поезд отошел четыре года назад. И уже тогда пункт Б перестал быть различной конечной точкой, заветной целью. Он стал подобием мерцающего фантома, указывающего направление, в котором суждено двигаться беглецу. Николай не раз успокаивал себя тем, что, вот, пройдет несколько лет, он подтянет немецкий, пообвыкнется, получит гражданство... Но тут же ухмылялся сам себе – с гражданством или без, а беженцем он останется все равно, не по паспорту, так по существу. И наверное, отчасти и поэтому в его снах поезд, выходящий из пункта А, всегда делал прихотливую затяжную петлю и неизменно возвращался к своей исходной точке: ему снилась их маленькая московская квартира в Соколь-

никах, Никитка на руках у Лены и непременно – Пират, своенравный рыжий котище, любимец...

«Wer sind Sie?»² – спросил вдруг Пират по-немецки и стал очень похож на складского бригадира Мартина. «Ich?.. – растерянно промямлил Николай. – Ich bin Ausländer... komme aus Moskau, ich bin aber Wissenschaftler... Aerodynamik... verstehen Sie?»³ И чтобы было более понятно, он завел руки назад и немного помахал ими – как крыльями. Рыжий Пират поморщился и заговорил по-русски: «И куда же ты летишь?» – «Я уже давно не лечу, но я бегу... аэромеханик не может не двигаться, безветрие для него смерть...» – «На складе не надо бегать, – назидательно заметил Мартин, – на складе нужно хорошо работать, четко работать и не путать артикул 1734562 с артикулом 1734652, verstehen Sie? А после работы можно посмотреть футбол или выпить доброго баварского пива, не так ли?». – «А куда подевался твой вторичный половой признак?» – покручивая свой роскошный ус, глумливо спросил Пират и теперь стал похож на пресс-секретаря мюнхенской криминальной полиции.

Человек в форме трясет его за плечо. Николай видит его расплывчато, сонными, слипающимися глазами пытается рассмотреть его – снизу вверх: фуражка, сбоку на ремнях сумка-планшет, жетон на лацкане... Человек что-то говорит ему. «Я сдаюсь... только я его не душил... – выдавливает он по-русски, – а половой признак... я его вторично отращу... честное слово...» – «Шпрехен зи кайн дойтч?»⁴ – хмурится человек в форме. «Найн, то есть да» – хрипло бормочет Николай. Ему никак не выйти из сонного оцепенения, и все же он начинает понимать, что перед ним не полицейский, а кондуктор поезда. «Ну что ж, пусть зовет полицейского, раз он меня узнал...» Но кондуктор вдруг начинает улыбаться: «Вам надо выйти из поезда, это конечная остановка». Он заметил, что пассажир просыпается, наконец, окончательно.

Николай даже не глянул на название станции – не все ли равно? Очередной, промежуточный пункт Б. Просто пошел по кривой улочке – вон от вокзала. Куда? Это тоже было ему абсолютно безразлично. Надо просто идти, без цели. И тут он почувствовал необыкновенную легкость и ему показалось, что он почти счастлив. Секрет счастья оказался очень простым: безразличие. Главное – ничего не хотеть, не строить никаких планов, отречься от всего – любой борьбы, каких бы то ни было устремлений, честолюбия, не думать о завтрашнем дне... разорвать пути даже малейшей ответственности... Идти, куда ведет дорога... Радоваться случайному цветку, потемневшему камню, одинокому дереву, палящему солнцу, нежданной грозе, пролетевшей птице, доброму взгляду, брошенному в спину проклятию... Идти... стать послушным ветру... нестись вместе с ним над полянами, подниматься по склонам холмов, раскачивать верхушки деревьев, подгонять течение рек, спускаться к городам, в которых суетливо двигаются эти люди, одержимые устремлениями, честолюбием, большими и малыми планами, поставленными целями, думами о завтрашнем дне... пожалеть их...

Пожалеть? Он остановился. Пожалеть – значит, отказаться от безразличия, значит, все сначала... И никакого секрета счастья... Он развернулся и медленно пошел в сторону вокзала...

² Кто вы?

³ Я? Я иностранец... из Москвы... но я научный работник... аэродинамика... понимаете?»

⁴ Вы не говорите по-немецки?

Утром следующего дня Фальц влетел в кабинет фрау Поль без стука. «Он в Берлине! Полчаса назад расплатился электронной картой. Но вы в жизни не догадаетесь, что он...» – «Вы о ком?» – не поднимая головы от бумаг, спросила Поль, не очень одобрявшая склонность своего подчиненного к разного рода эффектам, как то влетанию в кабинет без стука или форме доклада с применением множества восклицательных и вопросительных интонаций. «Этот русский, Смирнов!» – «А, – неопределенно начала шефиня, подняв, наконец, глаза на Фальца и маячившую за его спиной практикантку Шерр, – давно пора было вам его найти... Так о чем же я в жизни не догадаюсь?» – «Он оплатил билет на ночной экспресс Берлин (ЦОО) – Мюнхен, отходящий в ноль двенадцать, тот же самый поезд!» Фрау Поль удивленно вскинула брови, но тут же, снова уткнувшись в бумаги, спокойным голосом произнесла: «Через четверть часа прошу всех созвать ко мне». – «Видела? – подмигнул Фальц в коридоре практикантке. – Вот ведь... железная ведьма...» – «Как вы думаете, – робко глянула на него фрау Шерр, – мне разрешат вылететь с вами на задержание?» – «Дело очень ответственное, – сделал он тотчас серьезное лицо, – пока ничего не могу обещать...»

Когда через пятнадцать минут они вернулись в кабинет начальницы, там были уже почти все сотрудники, занятые в расследовании по делу Смирнова-Брунна. «Ведьма» Поль оторвала голову от вечной кипы бумаг на столе, отложила в сторону очки и, не глядя на Фальца, произнесла: «К сожалению, несмотря на все старания группы и лично коллеги Фальца, мы ни на йоту не продвинулись в поимке подозреваемого Смирнова...» – «Как? – нарушая все нормы субординации, закричал и вскочил с места Фальц. – Смирнов в Берлине и сегодня в ноль двенадцать мы возьмем его на перроне ЦОО. Я вам докладывал. Прошу, кстати, в группу задержания под мою личную ответственность включить нашу молодую колле...» Но не договорил, а просто снова сел, встретив холодный взгляд начальницы. «...В поимке подозреваемого Смирнова, – повторила фрау Поль и сделала паузу. – Коллега Фальц, контролирующий возможные сферы активизации “нашего пациента” – как то его мобильный телефон, банковские on-line трансферты и прочее, зафиксировал, что в восемь тридцать “наш подопечный” с помощью электронной карты Дрезднербанка приобрел билет на экспресс Берлин (ЦОО) – Мюнхен в одной из касс берлинского вокзала “Зоологический сад”...» Фальц, наконец, облегченно вздохнул и кивнул головой. «Однако уже в восемь сорок две Смирнов сдал билет назад...» – «Вот ведьма, – изумился про себя Фальц, – она уже успела проверить...» Но вслух произнес: «Но зачем?» – «Десять минут назад, – не обращая внимания на вопрос, продолжила фрау Поль, – берлинские коллеги отправили машину к дому фрау Овсеевой и начали доскональную проверку вокзала ЦОО. Но, судя по тому, что телефон молчит (она махнула рукой в сторону аппарата), результатов они пока не имеют... Скорее всего, “наш друг” понял, что совершил промашку и сдал билет, получив за него деньги уже в наличном виде, чего коллега Фальц, разумеется, зафиксировать не мог. Сам факт приобретения билета на тот же поезд сразу потребовал у мыслящих людей какого-то объяснения, и напрашивалось логичное решение не арестовывать его на вокзале, а “вести” некоторое время дальше, почему и понадобилась срочная проверка наличия свободных мест в его купе и в соседнем. На настоящий момент мы знаем только одно: он был в Берлине... Где он

сейчас? Почти уверена, что уже далеко и от ЦОО, а может, и от столицы... Так что командировка временно отменяется, – неожиданно улыбнулась она в сторону практикантки. – В три часа лейтенант Ферн обещает нам, наконец, отчет по профессиональной деятельности Брунна. Вы уже в курсе, что дела адвоката оказались достаточно запутанны, больше мне пока сказать нечего – остается ждать доклада коллеги Ферна. Благодарю всех». Практикантка Шерр приподнялась с места: «Разрешите высказать предположение». – «Предположение? – удивленно переспросила фрау Поль. – Что ж, попробуйте...» – «Мне кажется, что наш подозреваемый... – она вдруг смутилась, подумав, что словом “наш“ неволью то ли передразнила, то ли скопировала начальницу, – своим поступком отправил нам послание...» – «Беллетристики читалась, бывает», – молча улыбнулась Поль и одобрительно кивнула покрасневшей практикантке. «Он понимал, что мы перехватим банковскую операцию, – продолжала та, – и воспользовался этим для связи с нами. Смирнов дал нам понять, что он тут ни при чем. Это искать нужно в поезде, но без него. Загадка кроется там, и может быть, ее знает кто-то третий, кто ехал тем же рейсом... или знает только Брунн... В конце концов, мы же до сих пор не нашли ничего, что могло бы связывать жертву и подозреваемого...» Фрау Шерр обвела взглядом сотрудников и менее уверенно закончила: «Иначе, зачем Смирнов отправляет нас в поезд, в котором не собирается ехать?» – «Итак, всем нам есть над чем подумать», – лаконично подвела Поль итог совещанию. Сотрудники стали поспешно покидать кабинет, поскольку хорошо знали: коли «ведьма» принялась фигурально называть разыскиваемого каким-нибудь «нашим другом», ничего хорошего не жди. Все надеялись на новости от лейтенанта Ферна, которые, может быть, прояснят ситуацию и сдвинут дело с мертвой точки.

«Ваш билет?» – вежливо склонился кондуктор. И недоверчиво повертев в руках протянутый билет, посмотрел внимательно на пассажира и мягко произнес: «Вам придется пройти со мной». – «Всё, приехали. Ну и слава богу! – решил Николай и расслабленно вытянул ноги. – Пусть теперь берут». – «Извините, вы меня не понимаете? – снова с вежливой улыбкой заговорил кондуктор, – у вас седьмое место во втором классе, а не в первом, вам нужно пройти в соседний салон...» – «Как? – промямлил Николай. – Я уже готов... зовите полицию...» – «Я, наверное, не очень хорошо понимаю ваш немецкий, – удивился кондуктор, – или вы меня неправильно поняли: я не собирался из-за этого вызывать полицию. Ваше место там, проходите, пожалуйста...»

«Идиот, мальчишка, – обрушился на себя Николай, когда перешел в салон второго класса. – В полицию он, видите ли, захотел – чужие преступления на себя брать!» И уже в который раз он стал уговаривать себя, что продержаться осталось недолго, что мюнхенские криминалисты работают хорошо и настоящий виновный будет вот-вот выявлен. Он даже собирался, если в ближайшие пару дней не будет объявлено о поимке преступника, написать в полицию письмо со своей версией-подсказкой: некто мог задушить Брунна, когда Николай был в туалете, и скрыться, а когда Николай вернулся, то машинально закрыл дверь на защелку и упал как подкошенный на свою постель. Все просто. И непонятно, почему они до сих пор не вышли на нужный след. Почему в газетах не объявили его, Николая, невиновным? Двух дней было, наверное, достаточно, чтобы выяснить, что Брунна он никогда не знал и

мотивов к убийству не имел... ну... если не считать, что они много выпили и что он выболтал Брунну всё... и в туалете презирал себя и возненавидел Брунна... и...

Он схватился за голову – возможно ли такое? «Нет!» – протестовало все его существо. «Как сказать... – подленько ныло где-то в душе, – зачем же ты бежал? Да еще эта история с банковской картой в Берлине... странная какая-то история...»

Нет, он совсем не собирался в Берлин, просто ехал себе и ехал. Пересаживался, не задумываясь. Ехал в темноте, дремал. А на рассвете вдруг оказался в Берлине, да еще и в ЦОО. Ощущение было шоковое – вернулся к отправной точке своего кошмара... Увидел стойку бара, где перед отъездом пил кофе с коньяком, и вспомнил вдруг, как его окликнул приветливый бармен: «Ваши перчатки, хэrr...» А потом рассмеялся. Больно уж все это было похоже на незатейливую фантазию начинающего автора криминальных романов: злодейка-судьба устами случайного встречного бросает вызов, потом преступника неизбежно тянет к месту злодеяния... Тогда и решил отмотать эту штуку с банковской картой. Они теперь там, в Мюнхене, наверняка бросились чесать затылки – зачем ему понадобилось ехать в том же поезде? Вечером устроят засаду. Он почти засмеялся, представив, с какими серьезными лицами разрабатывают сейчас полицейские чины план его захвата. Наверное, даже кодовое название для этой операции придумали, что-нибудь типа «Sturm und Drang»⁵... А тот, с колечками, наверное, уже и речь подготавливает: «Благодаря высокому профессионализму корпуса криминальной полиции был арестован так называемый “мюнхенский душитель” – Николай Смирнов...»

И все же он не мог сам себе до конца объяснить, зачем понадобилась ему эта проделка. Для того ли, чтобы хоть на миг обуздать свое паническое состояние и заставить чуть медленнее колотиться сердце?... Затравленная мышка вдруг прыскает со смеху, исподтишка наблюдая за сбитой с толку преследовательницей-кошкой...

Он пробыл в Берлине не более часа. О том, чтобы встретиться с Таней, не могло быть и речи. И дело было не только в конспирации, но и в том, что теперь он совершенно не знал, что они могли бы друг другу сказать. Со времени их расставания прошла вечность – не два дня и три ночи, а вечность, вобравшая в себя столько, сколько человек пережить не в состоянии: абсолютное непонимание происходящего и от этого – панический ужас, растерянность, отчаяние, мучительные сомнения... Обреченный на бегство выброшен в иную систему психологических координат, он одержим только одним – манией бегства. На остальное у него уже не хватает сил. А Таня... она хорошая... только ему все равно ни на что, наверное, не удалось бы окончательно решить...

Его поезд никогда не вернется в пункт А – в Сокольники, где когда-то ждали его возвращения с работы Лена, маленький Никитка и рыжий Пират... Оставив позади пыльный канцелярский склад, холостяцкую квартиру в Мюнхене, заплаканную женщину в Берлине, его поезд пытается миновать станцию с названием «Тюрьма» и летит в никуда.

«Я не могу даже помолиться... – с ужасом подумал он. – Кому? Как? Какими словами? Полукровок... ни еврей, ни православный... советская выпечка – бывший член партии, кандидат наук... кандидат в беженцы...»

⁵ Буря и натиск.

Он не выбирал ни международных, ни федеральных поездов. И сейчас, глядя в окно, подумал, что тактика, которую он избрал, была правильной: двигаться перебежками, маленькими расстояниями, без заранее обдуманного плана, на электричках, на неторопливых поездах местного значения, нигде не задерживаться, не привлекать ничьего внимания, оставаться одним из многих – раствориться в пассажирской массе: дремать под мерный стук колес, жевать прихваченные на вокзале булочки, запивать баночным пивом, смотреть в окно, листать газету, легко подниматься с места и с улыбкой выходить на перрон, возвращаться – непринужденно и привычно, улыбаться всем и никого не видеть...

У него вдруг стало куда-то проваливаться сердце.

...улыбаться всем и никого не видеть... И, наконец, – ощутить себя частью этой летящей сцепной машины, раствориться в ней – приобрести ее форму, ее окраску, впитать в себя запах тормозных муфт и дорожной щебенки, нестись с ней вперед и без всяких дорогостоящих аэродинамических труб на себе познавать все правила любимой аэромеханики, стать одним из воплощений незыблемости закона движения между пунктами А и Б, заносчиво пронестись мимо шлагбаума с вереницами остановившихся машин, пробочным эхом вылетать из туннеля, брать вместе с тормозами высокую ноту, сипло приветствовать несущиеся навстречу неуклюжие товарняки, легкие, сигарообразные экспрессы, суетливые электрички, нести в своем чреве этих несмысленных, беззащитных людей, успокаивать, убаюкивать их своим движением, помогать им верить, что они движутся к заветной цели, превратиться в тень, бегущую по обочине...

2004

УБИТЬ – НЕ УБИТЬ...

(РАССКАЗ)

*И только солнце останется
не забрызганное кровью... и
конь ускачет без седока...*

Предсказание цыганки

Выводя самолет из зоны активного зенитного огня, летчик глянул вниз, чтобы удостовериться, насколько успел он удалиться от обстрела, – внизу космато расстился густой буро-зеленый лес, который будто бы кренился на бок вместе с машиной, входящей в вираж, и постепенно опрокидывался, грозя свалиться в некую бездну. В следующую минуту истребитель выправился в полете, и лес разом вернулся на свое место, слился с дымящимся горизонтом. Мир обрел привычные контуры. Летчик едва перевел дух, но в то же мгновение перед ним возникло нечто – настолько внезапное, что пилот не успел осознать, что это! – какая-то бесформенная масса тяжело врезалась в истребитель живым плотным телом. Самолет резко тряхнуло от удара, и на долю секунды пилот потерял всякую видимость...

То была огромная стая ошалело несущихся и словно ослепших птиц...

Летчик облился горячим потом. Едва удерживая машину, чтобы не свалиться в штопор, он судорожно передернулся в отвращении от кровавого месива, размазанного по стеклам кабины.

Птицы намного раньше положенного срока покидали эти края, не дожидаясь осени. Они улетали в самый разгар лета, стаями и врозь, ночью и днем, улетали, бросая гнезда с ненасиженными яйцами, улетали от беспомощно вскрикивающих, с вытянутыми шеями, птенцов. Последними исчезли болотные совы, перестав ухать по ночам...

Разбегалось зверье...

И повсюду горели окутанные на многие версты едким клубящимся дымом лесные чащи, рушился по опушкам вековой лес. И содрогалась земля, извергаясь в сплошных взрывах, вскипающих от шквальных артобстрелов, от ударов мин, взметалась от несущихся с неба бомб, выворачивалась от танковых штурмов и встречавшего их огня... Растерзанные взрывами ручьи растекались вкривь и вкось, выплескиваясь из берегов, исподволь заполняя низины и овраги. Один из танков, будто в укор самому себе за содеянное зло, навечно завалился в глубокий ров с водой, задрвав пушечное дуло прямо в небо...

Все это с неотвратимостью повторялось изо дня в день и не могло быть остановлено по той причине, что на данном рубеже, выражаясь военным языком, шла война фронтов. Фронт на фронт. И каждая сторона была одержима стремлением сломить оборону противника и развернуть решительное наступление.

Пока это не удавалось ни тем, ни другим. И тянулась изо дня в день, изо дня в день, то затихая, то снова набирая смертельную силу, позиционная война...

А время шло своим чередом. И почти до самой осени на этом пространстве, именуемом театром военных действий, не смолкали орудия, днем и ночью, в дождь и в ведро... Птицы тем летом так и не вернулись к своим гнездовьям, истерзанные травы так и не отцвели.

Штабы обоих фронтов спешно разрабатывали новые оперативные планы, докладывали ставкам о предстоящих операциях, сообщали данные о потерях, настаивая на необходимости наращивания ударного потенциала. И те, и другие, словно в один голос, просили у своих Верховных Вождей еще и еще резервов в живой силе, требовали дополнительной техники и боеприпасов. Одни были одержимы идеей завоевания новых жизненных пространств, другие озабочены защитой своих территорий, – и в том, и в другом случае резервы шли в дело, но силы убывали в боях, и снова подтягивались резервы...

Искромсанное войною лето между тем уже склонилось к сентябрю, и для каждой из воюющих сторон наступил последний срок готовности, последний предел, за которым грянет наступление, и тогда хлынет в прорыв неудержимая лавина...

На это, ужасающее своей кровавостью действо, когда из всего сущего разве что солнцу суждено было не омыться кровью, в покинутые птицами края сгоняло время людей, быть может, и родившихся на свет именно для этого рокового дня.

Сами они того не ведали, следуя в воинском эшелоне из Саратова, из жаркой, прижавшейся к волжской воде Предазии. Люди в эшелоне знали, что едут на фронт, но на какой именно участок какого фронта – об этом им не говорили, об этом могло знать только высшее командование. Солдатское дело идти, куда погонят... Поговаривали только, что пока движутся в направлении Москвы.

Отъезжали из Саратова на склоне дня, а через ночь душного пути, после осточертевших за лето, повыжженных зноем приволжских степей пошли мелькать по сторонам, то вблизи, то на отлете железной дороги, зеленые рощи, убегающие к хвойным лесам – любо было глядеть на них, словно писанных на старинных картинах. И даже сентябрьской прохладой заметно повеяло в раскрытые двери теплушек, набитых солдатами да их оружием. А вскоре леса подступили вплотную.

– Глянь, какие леса! Россия пошла, Россия-матушка! – переговаривались солдаты, будто сами были не из России, а из каких-то иных, дальних пределов.

Среди прочих ехал в эшелоне и совсем молоденький, с виду худой и долговязый – солдатская форма обвисла на нем, как одёжа с отцова плеча! – Сергей Воронцов или как прозвали его во взводе – Сергей, инок. Однажды, к слову, помянул парень Бога, порассуждал: мол, Бог не икона, а явление, но толкований его про то, что такое явление, никто не понял, а зубоскалы принялись насмешливо величать парня по-церковному – Сергием да иноком. Отчего же солдатам, изнывающим от дорожной тоски, безделья и полного неведения о завтрашнем дне, не посмеяться над девятнадцатилетним «умником», тем более что он и не обижался. Сергей часами стоял, опираясь о косяк вагонных дверей. Его спутники перебрасывались в картишки, кто-то распивал заначенную после вчерашних проводов выпивку, велись бестолковые разговоры, отчего галдеж стоял невыносимый, иные еще и песни затевали, а его, Сергея, все тянуло к дверному проему – поглядеть на новые места, на проносящиеся мимо леса и полустанки. Он по-мальчишески во все глаза всматривался в эту исконно российскую сторону, которую видел впервые: раньше-то он мечтал по окончании школы попасть на учебу в Москву, но теперь все это отпало, поезд мчал его на войну. Жизнь в эшелоне шла своим чередом: на станциях солдаты выбегали с жестяными чайниками за кипятком, эшелон отправлялся дальше, они заваривали чай,

доедали солдатские пайки, снова толковали о своем, радуясь дорожным переменах и новизне впечатлений после изрядно надоевшей трехмесячной муштры в армейском лагере над Волгой. И всякий раз, завидев нечто необыкновенное, невиданное, – подчас, для других, бывалых, вовсе и не занятное – дергал Сергей кого-нибудь за рукав: погляди, мол! А там какие-нибудь обыкновенные срубы в деревеньке, прильнувшей к дорожному полотну, озерцо укромное в камышах, какой-то чудак почему-то верхом на корове – вот это да, вот это кавалерист! – а то – высоченная труба посреди чистого поля в стороне от завода с горящим нефтяным факелом наверху. Сергей все это объяснял, растолковывал, что факел в небе горит сам для себя, для сброса лишнего газа; у них, у отца на нефтепромысле, тоже была такая же труба с факелом. В темную зимнюю ночь, в снегопад, это очень красиво – снежинки кружат, а в небе – живой огонь. На Новый год, бывало, с матерью, с сестрами любовались факелом, по снегу шли, взявшись за руки. А когда возвращались домой, тепло, светло было в доме, стихи читали, мать пирожками угощала, отец, работавший бухгалтером, – всегда строгий – и тот веселился. Чудак этот Сергей, что он понимает, посмеивались иные: вспомнил, мол, стишки, пирожки... И это ему-то, иноку, на фронт!

По одной узловых станции состав шел медленно, было уже сумеречно. Сергей привлек общее внимание к сгоревшему под бомбежкой составу, оттащенному на запасные пути – изувеченный паровоз, разбитые вагоны. Никто не обмолвился словом, но, конечно же, каждый представил, как налетали фашистские самолеты, как под бомбежкой загорелся поезд, что происходило в этих вагонах... Скольких побило, сколько сгорели, но кто-то же, наверно, успел выпрыгнуть, отбежать, отползти, спастись... То была первая столь реальная метка войны, представшая взору. Тихо, как на кладбище, повстречались и бесшумно разминулись в сумерках составы. Люди все больше молчали, задумчиво дымя махорочными сигарками.

А на другой день весь вагон веселился, хохоча над иноком Сергием. Парень снова дернул кого-то за рукав:

– Посмотри! Колодцы какие здесь! Вон, видишь, колодец под козырьком, как крыльцо резное-расписное! Красота!

На что услышал ехидную отповедь:

– А ты не на резное-расписное смотри, мужик! На войну едешь! Ты на деваху смотри, вон, которая берет воду из колодца. Ишь, загорелая, в майке, и сама-то крепкая! А задок! А ты мне – колодец! Эх, иннок, прыгнул бы сейчас вместо тебя, да в дезертиры запишут!

Смеху-то было.

К нему так и относились – олух, иннок, юнец зеленый – не туда смотрит, не то видит. Вроде, и ростом Бог не обидел, и в плечах, присмотреться, не такой уж щуплый, и не глупый, кажется, парень, но, и то правда, во многом Сергей оставался еще застенчивым и даже странноватым подростком. Он и сам подчас не без горечи размышлял об этом, поглядывая на сверстников, на зависть быстро преодолевших угловатость, не говоря уж о тех, кто обо всем другом – об отношениях с женщинами – представление имел. А он-то! Приключилась, было, одна история с намеком на любовь и так как-то нелепо кончилась.

Вот, опять же, вчера на вокзале, при посадке на поезд, случай произошел странный, может, смешной, а может, и нет... Случай этот из головы не выходил всю дорогу.

Отправку их части объявили неожиданно, подняв по тревоге рано утром. Кто знает, отчего вдруг так срочно скомандовали сбор, но война есть война, у нее свои планы и решения. Вскоре выступили они из пригородного лагеря, рота за ротой, и двинулись по окраинным улицам Саратова в направлении станции... В колонне было немало здешних, саратовских. Проходя по улицам,

иные из них шли мимо своих окон в общежитиях и домах, мимо фабрик, где недавно еще работали. Как тут сдержаться. Никто, конечно, не помышлял выбегать из строя, такого командиры не позволили бы, но солдаты начали кричать на ходу в раскрытые по-летнему окна, прощаясь с родными. Некоторые из солдат-саратовцев, чьи дома не стояли на ближних улицах, окликали прохожих, просили передавать приветы близким. Как водится, набежала детвора: «Солдаты идут! Красноармейцы идут на войну!» А тут еще женщины – матери, жены, сестры! И все увязались за колонной, кто в чем успел выскочить – какая бежала в тапочках на босу ногу, другая и вовсе босиком, вприпрыжку, кто подался с мокрым полотенцем на недомытой голове, кто в драной – для дворовой возни – юбке. Бежали они с плачем вдоль шагнувшего строя, некоторые успевали сунуть свертки с нехитрой, схваченной со стола снедью, иные успевали всучить бутылку, обернутую газетой. Женщины кричали, каждая свое, напутствуя мужей, сыновей, братьев, соседей, знакомых по работе, уходящих на войну, препоручая всех до единого самому Господу Богу, и все до единого были для них в тот час одинаково родными, кровными; бежали, крича наперебой и желая всем поскорее возвращаться с победой домой, на Волгу, в родную сторонку, а одна, горемычная кликуша, плакала да выкрикивала все: «Сталину слава! Сталину слава!» Потом, уже ближе к станции, словно спохватившись, пуще прежнего запричитали бабы перед разлукой, вспомнили о беде своей, о судьбе, ибо было им отчего убиваться, расставаясь, быть может, навсегда с уходящими на фронт, ибо страшно было подумать, что теперь вся их жизнь становилась, может быть, жертвоприношением войне с вытекающей отсюда неизбежной, горькой вдовьей участью до скончания века...

– А ну-ка, женщины, не кричать! Не мешать движению! Разойдись!

Но никакие увещевания и строгие окрики командиров не действовали на них. Так они и шли – солдаты в строю, а рядом поспешавшие женщины и дети – по кривым прибрежным саратовским улицам, то на подъем, то вниз по спуску. И сворачивали, уходя все дальше и дальше от Волги...

Не думал Сергей, что таким тяжелым будет расставание, и впервые это было прощание на мир. Душа истерзалась, хотя, как и другие, шагавшие рядом солдаты, он бодрился, улыбался всем, с кем встречался глазами, рукой махал: ничего, мол, всё выдюжим. На самом деле он очень переживал еще и потому, что не удалось попрощаться со своими. Родители его уже были престарелыми людьми, он у них самым младшим родился. Одна сестра, старшая, жила в Казахстане, где-то на границе с Китаем, на пограничной заставе. Вторая, Вероника, здесь же, в Саратове. Муж ее был на фронте, а только – жив или нет – вестей давно не было, а у нее ребенок: сама на работу, а малыша оставляла как-то сразу постаревшей матери для присмотра. Отец же, Воронцов Николай Иванович, всю жизнь проработавший на волжских нефтепромыслах конторщиком, в ту пору лежал в больнице, давно болел. Обо всем этом написала Вероника в их пригородный лагерь, на полевую почту воинской части, где днем и ночью обучали их воинскому делу. Посещения родным не разрешались, так что только в письмах пересказывала Вероника про все их испытания. Он любил сестру, беспокойную, обо всех заботившуюся, открытую, был благодарен ей за письма, но на последнее так и не ответил, да и не знал, что отвечать: очень смутило его последнее письмо.

Вероника писала про Наталью, его бывшую одноклассницу, которую в школе дразнили «коминтерновкой». Прозвище это Наташка получила потому, что однажды, когда учились они в седьмом классе, сочинила стихи о Коминтерне, о том, как в Испании сражались коминтерновские бригады за счастье рабочих и крестьян всех стран. Наташка послала стихи в Москву, а оттуда ей пришло письмо с благодарностью, и это стало событием в школе. Загордившаяся одно-

классница всем показывала письмо, его постоянно перечитывали. Наташку-коминтерновку, шустрюю и бойкую, выдвинули в активистки, теперь она выступала на всех собраниях, возглавляла все школьные мероприятия. Как-то, в конце последней предвоенной весны, Сергей танцевал с ней на школьном вечере. Он почти никогда не танцевал прежде, смущаясь своей угловатости. Но она сама потащила парня в круг. Сергей, помнится, торчал у окна, глядя на вальсирующие пары, когда она подскочила, вдруг оставив своего напарника, и уверенно взяла Сергея под руку: «Пошли, Сережа, больше всех с тобой хочу потанцевать!» Он повинился ей, как пионер повинется вожатой, хотя девушка была ему всего лишь до плеча. Зато решительности в ней было хоть отбавляй. Сергея, будто он этого только и ждал, в жар бросило. И они вбежали в танцующую толпу.

Неведомые дотолпе ощущения испытывал парень: кругом шла голова, от разгоряченных, кружившихся вокруг них пар исходил незримый огонь, распаяя плоть и сбивая дыхание. Было так сладко и желанно отдаваться этому охватывающему всех вихрю страсти, и в то же время хотелось убежать из толпы, взлететь в небо с Наташкой, чтобы никого вокруг, чтобы никому не видно их с Наташкой, а им лететь, лететь все выше и выше, и чтобы все сильнее он прижимал ее к себе! А Наташка-коминтерновка так здорово кружилась, она была как резина – и упруга, и податлива, и он поражался тому, что сковывавшая поначалу неловкость отпустила его, и возникло ощущение особой близости, так быстро нараставшей между ними – невозможно было унять колотившееся сердце! Однако лица ее, пылавшего рядом, когда так явственно ощущалось разгоряченное дыхание девушки, лица ее он почти не различал и от волнения не понимал, что с ним происходит, и только когда она вдруг сказала: «Я знаю, Сережка, ты меня любишь, ты мечтаешь обо мне!» – он увидел ее дерзко смеющиеся глаза и разглядел откровенно приблизившееся лицо.

Сергей вдруг сильно смутился – так неожиданно это произошло, и хорошо еще, не сбился, продолжал кружиться. Хотел ответить, сказать что-нибудь такое легкое, незначущее, уличное, как это запросто получается у других ребят, но он так не умел... Наверно, хотел сказать, что не задумывался, любит ли ее, но она ему нравится, даже очень нравится. Однако Наташка, как знала, опередила парня: «Не отвечай, Сережа, не отвечай, не старайся! Я пошутила, – заговорила она, кружась и покачивая в такт музыке головой, – но, понимаешь, я же вижу тебя насквозь. – Наташка приостановилась на краю круга, чтобы слышнее были слова. – Я всех вижу насквозь, кто о чем думает, – продолжала она. – В райкоме мне говорят, что я прозорливая комсомолка-пропагандистка. И тебя вижу. Ты любишь меня и скоро мне об этом скажешь! Ты ведь у нас всегда такой. Не как другие. Тугодум. Ой, тугодум! Пока ты соберешься! Я все знаю. Ты ведь с девчонками еще никогда ничего!.. Так ведь? – Наташка говорила торопливо, словно боясь, что Сергей перебьет ее. – Да ясное дело! Ну не скрывай! Я же вижу по глазам! Я все знаю. Скоро на тебя будут все вешаться! А ты смотри у меня! Я первая! – Они снова двинулись в танце. Наташка не умолкала. – Будем всюду вместе ходить, – тараторила она. – Я буду выступать на собраниях, а ты будешь записывать для газеты, журналистом станешь. Ты хорошо пишешь, я знаю. Понимаешь, я боевая, я здорово речи толкаю, а ты, зато, умник, а мне как раз такой и нужен. Соображаешь?»

Вот такой разговор происходил, то ли в шутку, то ли всерьез, и стоило ли потом размышлять о случившемся или надо было все это напрочь забыть, но в ту ночь Сергей не уснул, промаялся до самого утра. Он даже собрался и написал ей письмо, но потом порвал его.

Только спустя несколько дней Сергей поостыл. Потом кончилась школа, он собирался поступать в пединститут, а тут грянула война. Они с Наташкой и виделись-то всего пару раз мимоходом в те суматошные дни. Сергей, конечно,

ждал, что они вернуться к разговору, возникшему на танцах. Но сам не решался, надеясь на девушку, а теперь стало, кажется, не до того. Когда пришла повестка, Сергей не удержался, пошел к многоэтажке, где она жила, ждал, раздираемый сомнениями, томясь, волнуясь, – и дождался. Все получилось как-то не так. Горел костер, да вовремя сухих веток не подбросили. Сергей сказал Наташке, что его призывают в армию и он пришел попрощаться. Наташка восприняла это совершенно спокойно, сказала, что ж, теперь всех берут на фронт – мобилизация, пожаловалась, что торопится, у нее много дел, но пообещала написать. Пусть только пришлет поскорее адрес полевой почты. Сергей обрадовался, будто за тем и шел, чтобы условиться о переписке. Потому что в письме, думал он, можно сказать гораздо больше, чем с глазу на глаз. В письме можно написать то, что не хватает духу сказать. Однако на свои письма, а он отправил их три подряд, ответа от Наташки так и не получил. И теперь вот, когда уже потерял надежду что-либо услышать о девушке, сестра Вероника – и откуда она узнала, что это важно Сергею? – написала, что Наташка-коминтерновка выходит замуж. Знающие люди утверждали, что за человека намного старше ее, у которого год назад умерла жена и который имеет бронь от призыва на фронт. И далее Вероника писала: «Сережа, милый братец, не смей переживать из-за этого. Я же знаю тебя, ты начитался разных романов и на все смотришь книжными глазами. Понимаешь, вы с ней очень разные, вы совсем не пара. Поверь мне. И только бы вернулся ты домой живой и здоровый, только бы быстрее кончилась война, а то, что ты будешь счастливым и что какая-то из девушек будет счастлива с тобой, я в это верю, Сережа! Не переживай, братец дорогой. И поскорее возвращайся к нам, домой... Скорей бы кончилась война, скорей бы...» Вот такое письмо.

По правде говоря, ничего ведь у них с Наташкой-коминтерновкой и не было, а по теперешним событиям ушло все оно в прошлое, как позабытый сон.

Теперь Сергей уходил из города детства походным маршем, провожаемый, как и его нынешние товарищи, этими сбивающимися с ног женщинами и детьми. Жалел только, что не было среди них родителей да сестры Вероники, которая, знай она об их срочной отправке на фронт, примчалась бы во что бы то ни стало повидаться напоследок.

Во все времена говорят люди про то, что мир, мол, не без чудес. Кто знает, может, и чудом обернется то, что случилось с ним в день отправки. Их уже начали рассаживать по вагонам. Еще раньше заметил Сергей в женской толпе цыганку. Откуда она взялась? Впрочем, в летнюю пору в Саратове всегда бывало полно цыган. Она сразу бросалась в глаза – смуглой ли кожей лица, медными ли, широко раскачивающимися серьгами, яркой, хоть и изодранной шалью или пестрой, почти до земли длинной юбкой? Ну, цыганка – она и есть цыганка! Привлеченная, должно быть, людским многолюдьем и гамом, она тоже поспешала сбоку колонны, что-то выкрикивала, жестикулировала и, казалось, кого-то высматривала в строю. Солдаты в ответ недоуменно перемигивались, подталкивали друг друга под бок: глянь, мол, не тебя ли выискивает цыганка. А один из идущих в колонне даже сам объявился:

– Эй, цыганочка, эй, бедовая, я здесь! Слышишь? Ты же меня ищешь погадать?

И очень был удивлен, услышав в ответ, что когда-нибудь она погадает ему, а сейчас сама найдет того, кто ей нужен. К удивлению похотывавших солдат, она вдруг обратилась к Сергею:

– Слушай, парень! Слушай, молоденький, эй ты чернобровый, выйди на край, дай руку, я тебе погадаю на дорогу, поворожу на счастье!

Сергей шел в шеренге, третьим с краю. Но дело было не в том, где он шел, не в том, что нарушать строй не полагалось. Никогда ему не гадали-не ворожили,

и в семье все, кроме матери, к разного рода гаданьям да приметам относились не без иронии...

– Не надо! Я не хочу! – как-то по-детски, но громко, отвечал он цыганке, смущенно улыбаясь и пожимая плечами. Ему хотелось извиниться перед ней, но как и за что, Сергей не знал. Солдаты веселились пуще прежнего: «Вот цыганка, знает, кому гадать! Инока нашего облюбовала. А кого еще! Он, кажись, в Бога верит, вот и в самый раз!»

А цыганка не отставала:

– Слушай, парень, не отказывайся – это судьба!

Кто-то из солдат, идущих с краю шеренги, подзадорил цыганку:

– Его Сергием зовут.

– Сергей? Эй, Сергей, дорогой, эй, чернобровый! Я тебе говорю – не отказывайся, Сергей, ты совсем еще молоденький, судьбу твою расскажу! Погадаю от чистого сердца. Все скажу как есть!

Но тут кто-то шумнул на нее:

– А ну не мешайся! Видишь – идем.

– А я не помешаю, ребята, я только гляну на руку, на ходу! – не смутилась она.

– Отвяжись, надоела, не мешай тебе говорят! – пробурчал тот же голос.

Цыганка была не молодая, не старая. И на лице ее, как показалось Сергею, не было обычного плутовства, а наоборот – открытость, участливость, как у сестры его Вероники. Веронике всегда хочется что-то доброе сделать, и нет ей оттого покою. Да, цыганка очень походила на Веронику, скорей всего не глазами, а их выражением, но может, Сергею так показалось, потому что цыганка крикнула: «Я тебе как сестра скажу! Как своему брату!»

И когда она вдруг затерялась в толпе, исчезла из виду, Сергею стало даже не по себе, и в душе он пожалел, что не откликнулся, что как-то оно нехорошо вышло...

Тем временем они вышли к станции, вступали на привокзальную площадь, рота за ротой, взвод за взводом, и загудела, зашумела вокруг толпа... Эшелон был уже на путях, с распахнутыми для посадки теплушками. Длиннющий состав, конца-края не видно. В этих вагонах предстояло им отбывать на фронт.

Началась предотъездная суета, ротные поясняли, какому взводу какой вагон отвели, солдаты, гремя оружием и котелками, шумно передвигались вдоль состава, а женщины, старики и дети путались под ногами – и набегали новые, прослышавшие про уходящий эшелон, и никакими силами отогнать их нельзя было.

Погрузка длилась довольно долго. В ожидании своей очереди на посадку Сергей совсем забыл уже о цыганке, как вдруг она снова возникла в толпе. Нашла-таки, вот ведь какая настырная оказалась:

– Эй, Сергей! А я за тобой, Сергей! Не отказывайся, парень, послушай меня! Судьба велит тебе погадать на дорогу. Не отказывайся, на войну идешь, судьбу узнаешь.

Сергей даже обрадовался:

– Хорошо! Гадай, если надо, – пристроив вещмешок у ног и забросив винтовку за спину, он с готовностью протянул ей правую ладонь.

Прямо у вагона, перед самой посадкой, в окружении любопытствующих его товарищей и произошло это гадание. Цыганка внимательно разглядывала линии руки, шептала что-то, шевелила губами, покачивала головой:

– Ой, стой! А битва будет великая, невиданная и неслыханная. Ой, судьба, судьба! И только солнце останется не забрызганное кровью, и конь ускачет без седока, – приговаривала она, не обращая ни к кому, и затем добавила,

глянув Сергею в глаза, – была у тебя любовь непонятная. И печаль принесла она тебе, да напрасную. И чистый ты, как бумага неписаная.

Тут раздались смешки окружавших их солдат:

– Ясное дело, втюрился наш «чистый», да не вышло!

– Не вышло! – с наигранным укором вступился за парня другой. – Вам бы только зубы поскалить. А инок-то наш пострадал, выходит, ни за что! Девка, стало быть, хвостом вильнула и была такова! А он, как был чистый, так и остался!

– Не смотри на них, парень, – отмахнулась цыганка. – Теперь дай левую руку и слушай только меня!

Разглядывая левую ладонь Сергея, цыганка напряглась, примолкла на мгновение и затем торжествующе воскликнула:

– Ты бессмертный! Я так и знала! Сердце мне подсказывало. Вот, видишь, ты бессмертный! У тебя звезда такая! Я как знала! Потому и шла за тобой!

Все зашевелились вокруг. Сергей глупо заулыбался, не зная, как быть – то ли радоваться, то ли посмеяться да благодарственно поклониться для потехи, и хотел было отнять руку, но тут вмешался один солдат. Был у них такой тип, Кузьмин. Занудливый и вьедливый мужик, который вечно ко всем придирался, кто да что ни скажет, и поучал других.

– Постой, постой, цыганка, ты что это, дорогая, – решительно покачал он головой. – Ты что-то не в ту степь поскакала. Что значит бессмертный? Ты понимаешь? Да разве может быть кто-нибудь бессмертным? Где это слыхано? Все на земле смертные и только он один бессмертный. Гляди! А мы, между прочим, не куда-нибудь, а на войну едем, и кто знает, кому что достанется – кому пуля, кому нет. Да на фронте сейчас смерть не разбирает, гадай – не гадай. Подряд всех косит. Зачем же нас дурить?

– Я не дую, а судьбу узнаю. А у него звезда бессмертная! На роду написана, – не сдавалась цыганка. И произнесла то, что многие хотели бы услышать, пусть и не совсем понятны были ее слова. – Судьба выше смерти. От судьбы судьба ведется, от смерти ничего не идет. А у парня звезда бессмертная – от судьбы, на роду написано... Звезда у него бессмертная!..

Кузьмин еще долго что-то ворчал, руками размахивал, как на митинге, доказывая нелепость цыганского гадания, и хотя он был прав, солдаты, однако, верили почему-то гадалке. А когда стали забираться в вагон, многие прощались с цыганкой за руку, и она не уходила с перрона до самой отправки и когда поезд тронулся, бежала среди прочих женщин и детей за вагоном, махала Сергею рукой, пока эшелон не исчез из виду...

Осень еще не набрала силу, в теплушках было душно. Сергею совсем не спалось. Колеса стучали во мраке, паровоз подолгу гудел, и от этого звука ныло и тревожно сжималось сердце. На ум Сергею приходила цыганка. Откуда она взялась с ее странными гаданиями? Запомнилась фраза: «И только солнце останется не забрызганное кровью... и конь ускачет без седока...» Что это значило? Непонятно, загадочно. Что это за конь без седока? А звезда бессмертная? Какая такая звезда? Наверно, все это байки... Ну какое отношение звезда имеет к человеку? Звезды сами по себе, люди сами по себе. Но ведь есть судьба? А как может судьба вестись от судьбы?..

Колеса стучали по рельсам. Солдаты лежали вповалку на полках, храпели. Луна то появлялась в проеме дверей, то исчезала в облаках, звезды мелькали над бегущим вдаль поездом...

Сергей удивлялся: как могла цыганка угадать про Наташку-коминтерновку, про то, что письма ей писал, про то, что ничего не вышло. Что она сказала, цыганка эта: напрасная печаль. Значит, и печаль может быть напрасной... Но что ждет их впереди? Как оно будет там, на фронте? Страшно, конечно. Раненые

фронтовики, прибывшие в Саратов, рассказывали о войне. А теперь самому придется увидеть, какая она, война...

Колеса стучали, и сон не шел. И опять подумалось ему, что есть какая-то сила над всеми и над каждым, и, может, зовется она судьбой. И никому не дано остановить или объяснить эту силу. Вот едут они на фронт, на войну – судьба велит. И каждый задумывается: убьют его или не убьют? А от того, кто кого убьет, зависит и кто победит. Всем хочется, чтобы война поскорее закончилась, чтобы голод и холод отступили. А для этого надо воевать, надо убивать, надо победить, чтобы закончить войну...

Сергею припомнилось, как дома отец с матерью спорили об этом. Когда пришла сыну повестка и стали они, обсуждая что к чему, собирать Сергея, мать, присев на краешек стула и прижав руку к груди, вдруг сказала с мольбой: «Сереженька, только не убивай никого, не проливай крови!»

С чего это она? На всю жизнь, наверно, запомнилось, как мать произнесла эти слова, глядя ему в лицо, как будто только что вернулась откуда-то издалека, только что перешагнула порог и сказала то, о чем думала всю дорогу. И он сам, словно бы впервые в жизни, увидел ее, свою мать, увидел неожиданно для себя, какие у нее глаза, уже утратившие былой золотистый блеск, какая она морщинистая лицом, какая она старенькая в своем сатиновом халате и с пуховым платком на плечах. И словно заново увидел он то, что видел всегда, да ускользало от сознания: годы их скитальческой, от нефтепромысла к нефтепромыслу, жизни, себя босоногим мальчишкой, мать, в то время еще русоволосую статную женщину с уложенными на голове косами, ее постоянную озабоченность хлопотами по дому, детьми, их школьными делами, вечным диабетом мужа – всему этому не было конца... И вот, собирая сына в армию, она произнесла эти слова. То, что мать просила никого не убивать на войне, не проливать крови, очень смутило его, и Сергей, неопределенно пожав плечами, пробормотал:

– Ну что ты, мам! К чему об этом. Я же в армии буду, – и чтобы уклониться от разговора, стал перебирать учебники в шкафу. – Мам, у меня тут книги из библиотеки. Я их отложу, пусть Вероника отнесет и сдаст их.

Но разговору суждено было продолжиться, потому что вмешался отец:

– Что значит, не убивай! – воскликнул он возмущенно. – Как это, не убивай, крови не проливай! Вот те на! А куда он уходит-то? Никак, на войну? Ну, ты, мать, скажешь так скажешь, – и стал шарить по столу в поисках курева. Мать вечно убирала папиросы подальше, но отец без махорки, когда волновался, не мог.

– Только не кури, Коля, – обернулась она к мужу, – пожалей себя. Сколько можно!

– Ну да, тут не закуришь, когда ты такое сказанула! Ему ж на фронт идти! А там как?..

– Вот потому и говорю. Пусть Бог рассудит, что я сказала. Все об этом только и твердят – убей, убей! Враги нам смерть несут, мы – им. А как потом жить на свете – одни убийцы останутся на земле? Я понимаю: не убьешь ты – тебя убьют, а убьешь – все равно убийца. А что с Анатолием, – вспомнила она про зятя, – то ли жив, то ли нет, убили его – или сам кого убивает? И Веронике сказать про это боюсь. Так я уж сыну своему выскажу, что на сердце, – и заплакала тихо, сдерживая рыдания, понимая, что не в силах никого переубедить.

– Во-во, – не унимался отец, – ты так рассуждаешь, что дальше некуда. Да тебя за такую агитацию во враги народа запишут и в Сибирь упекут. Тут война идет мировая, кто кого осилит, или мы их, или они нас, а ты – не убий! Думаешь, мне собственного сына не жалко? Или Анатолия нашего? Только как же иначе? Солдат землю свою защищает, у него приказ. И если солдат уничтожит врага, то есть убьет, по приказу, по долгу, это его геройство, и никак не иначе!

Мать молчала, занятая латанием мешка, а отец пустился в воспоминания о своей молодости, когда он, девятнадцати лет от роду, как Сергей нынче, плавал в Первую мировую войну моряком-подводником. И рассуждения его сводились к тому, что уничтожение вражеской живой силы – это главное и верное дело. Вот, к примеру, они на подлодке своей потопили военно-транспортное судно в Балтийском море. Вначале долго шли следом за неприятельским кораблем под водой. А потом дали залп. И все как надо получилось, обе торпеды в борт легли, по самой ватерлинии: вражеское судно загорелось! Они на подлодке ушли вглубь, переждали какое-то время и затем снова поднялись, чтобы наблюдать в перископ за происходящим на поверхности моря. Задрав носовую часть к небу, огромный корабль уже наполовину ушел под воду, а вокруг в отчаянии пытались удержаться на плаву еще не затонувшие люди.

Конечно, картину эту в перископе видели только командир да старшие офицеры!

Когда же командир убедился, что для их лодки нет никакой опасности, он отдал команду на всплытие. А как всплыли, раздалась другая команда: всем наверх, построение. И командир объявил экипажу благодарность за успешное выполнение боевого задания! А враги тонули вокруг, их осталось уже совсем мало. Иные пытались подплыть к лодке, но доплывших офицеры расстреливали, держа наган на вытянутой руке... А море бурлило, время шло к сумеркам, и снова была дана команда на погружение... Вот она, война! На войне побеждает тот, кто убивает! А подводникам пленных брать нельзя: где для них место в лодке? Самим воздуху не достанет... Всегда так было и так будет.

Мать не стала ни спорить, ни возражать. Только головой горестно покачивала. Потом заглянули попрощаться соседи, тетка с племянниками пришла проститься, Вероника прибежала с работы и стала помогать матери по дому, и другие разговоры пошли до самой до полуночи.

Теперь, вспоминая этот разговор, он жалел родителей: и мать, не хотевшую, чтобы он, ее мальчик, кого-то убивал, и отца, думавшего о том, чтобы не убили его сына, и потому призывавшего убивать самому...

Все то, что прежде казалось обыденным, домашним житьем, обретало в памяти иную ценность и щемило болью утраты. Вспоминалась Волга под саратовским нагорьем. Любимые летние места, зеленые островки и сияющая, магическая речная ширь, паруса над ней. Но больше всего в детстве тянуло Сергея к большому железнодорожному мосту над рекой. Мост был на огромной высоте, и стоя внизу, у воды, он часами любовался проходящими над рекой поездами, прислушивался к стуку колес, к гулу стальных пролетов, дрожавших над головой на фоне облаков в небе, и завидовал тем, кто куда-то ехал по мосту над Волгой, в какие-нибудь, как мечталось Сергею, прекрасные страны, описанные в любимых книгах...

И опять почему-то вспоминалось, как в новогоднюю ночь ходили всей семьей, пробираясь в валенках по заснеженному полю, к высоченной трубе с полыхающим нефтефакелом. Живой огонь, живой снег, нескончаемо падающий в зареве огня. Огонь безмолвно пожирает снежинки, а снег все идет и идет, устремляясь к огню, не в силах отстраниться от огня, густо валит... И огонь не гаснет, и снегу нет конца...

И вот едет он на фронт, где предстоит ему убивать или быть убитым. Сергей беззвучно заплакал во тьме, вспомнив мать, отца, сестру Веронику, плакал тихонько, оглядываясь на спящих солдат. Как хотелось снова, взявшись за руки, брести по заснеженному полю к полыхающему в небе ночному огню!

А колеса стучали на стыках и раскачивался вагон. Проносились стороной какие-то полустанки, подслеповато мелькнув в ночи урывками огней. Эшелон, набитый солдатами и оружием, поспешал туда, где предстояло убивать или быть убитым.

Быть или не быть убитым – не зависело от твоей воли, никто не хочет быть убитым и никто не знает, быть ли убитым именно ему. Убивать или нет – дело твоей воли, но на войне – неизбежное дело. И, однако же, как прикажешь себе: убить – не убить?..

...И стучали колеса на стыках: убить-не убить, убить-не убить, убить-не убить...

Постепенно задремывая, со слезами на ресницах, Сергей все пытался представить себе предстоящие бои, и что придется убивать – стреляя в чужого солдата или уничтожая врага в рукопашном бою, чему все лето обучали их на волжском берегу. И вдруг виделось парню, что кто-то убивает его, и Сергей пытался вызвать в своем представлении образ этого врага, фашиста... Но ничего не получалось – не возникал образ чужого солдата. Так же, как трудно было представить по отцовскому рассказу тех, кто тонул возле подводной лодки. Волны захлестывали лица. Их было не разглядеть. А доплывших расстреливали из наганов, и они исчезали в пучине, безмолвно и бесследно...

Колеса стучали на стыках: убить-не убить. Сергей попытался вдруг припомнить немецкие слова, которые учили в школе, но именно этих слов вспомнить не мог и потому не знал, как могли звучать на немецком языке эти же слова: убить – не убить, убить – не убить, убить – не убить...

И мчался поезд во тьме...

ИЗ РАССКАЗОВ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ

*Строгое было время, хотя нельзя
сказать, чтобы особенно умное.*

Салтыков – Щедрин

В России тех лет правила игры выполнялись автоматически. Так жили советские люди. Во всяком случае, большинство.

Но стоило задуматься, а многие приобретали эту пагубную привычку в совсем юном возрасте, как идиотизм этих правил возмущал, раздражал, а отдельных циников даже смешил.

Например, в нашей стране не принято было открыто обсуждать еврейскую проблему. Считалось, что этой проблемы у нас так же, как и секса – нет. Все знали, что есть, но говорить надо было, что – нет.

В узком кругу можно было об этом поболтать, в неофициальном общении – пожалуйста. Ну и, конечно, на пресловутых кухнях. И остроумцы с изрядной частью еврейской крови, но с русскими фамилиями, бодро пели: «За столом никто у нас не Лившиц».

Конашенок был человеком наивным до безобразия. Или делал вид.

Кафедру «Физика атмосферы», на которой он работал, возглавлял тогдашний ректор Ленинградского университета Кирилл Яковлевич Кондратьев. Конашенок просит своего ректора и учителя принять на работу очень хорошего физика, очень нужного кафедре человека, допустим, Сеню Кацмана. Просит посодействовать.

«Нет, Володя, – твердо говорит Кирилл Яковлевич и качает головой, – ничего не получится. Мы уже страшно превысили процент... Дальше некуда. Катькало (это начальник отдела кадров) меня просто убьет...»

Напомню, говорит это ректор университета, хорошего университета, одного из крупнейших в Европе. А про Катькало известно, что он страстный и самоотверженный антисемит.

Но тут случается вот что. Сотрудник кафедры по фамилии как раз Лившиц благополучно переходит в ФИЗТЕХ, который его безбоязненно пригревает, руководствуясь эгоистическими научными соображениями.

И Володя Конашенок идет в Отдел кадров, стучится в кабинет Катькало и, вежливо поздоровавшись, спрашивает сидящего за столом мрачного и непроницаемого человека: «Скажите, пожалуйста, если мы одного еврея уволим, можем мы на кафедру другого еврея принять?»

Володя потом рассказывал, что лицо Катькало внезапно преобразилось, налилось кровью, челюсть его отвисла, он стал задыхаться, попытался приподняться, опираясь руками о стол, но рухнул обратно в кресло и лишь последним усилием гневной руки указал Конашенку на дверь, куда тот, недоумевая, и вышел.

Этот дикий и предосудительный поступок любимого ученика Кондратьев, конечно, замаял. Каким образом – можно только догадываться. И догадаться, вообще говоря, можно.

«Ну, физики, они ведь, знаете, не совсем нормальные. Они и с работы уходят не раньше одиннадцати вечера, а некоторые вообще ночью работают, говорят,

ночью наводок меньше. Чего только не придумывают. Понимаете, больные люди. Но без них нельзя. Ну что делать.»

К слову сказать, грянувшая перестройка Катькало ничуть не смутила. Он даже баллотировался в какие-то демократические органы. Кажется, его всё-таки не выбрали. Но – не поручусь.

После вольных университетских лет я начала работать в Оптическом институте, который давно уже стал заведением закрытым и охраняемым, т.е. «режимным».

Попасть внутрь можно было только через три проходных – одна из них находилась на Биржевой линии, как раз напротив БАНА (Библиотека Академии наук), другая чуть подале на той же Биржевой линии, но ближе к Малой Неве, а третья, со временем ставшая самой главной, выходила на Тучков переулок.

В проходных на страже стояли стрелки ВОХРа – обычно толстые сонные тетки в чем-то темном и форменном, с пистолетом на рыхлом боку, но попадались и вездливые, омерзительные, сухонькие старички палаческого вида.

В здание института можно было войти в 9:00, дозволялось на час выйти из него в обеденный перерыв, а домой можно было отправиться не раньше пяти. Режим. Выпускали иногда, если кто-нибудь звонил по «местному» и вызывал вас в проходную для разговора по важному и срочному делу. Мои неленивые друзья с воли нередко развлекались довольно дурацким способом – выманив меня из института, в двух метрах от охранника разворачивали какую-то мятую бумажонку, изображавшую якобы план местности, и, тыча туда пальцем, громко наставляли: «Значит так, запоминай – первую бомбу устанавливаешь у гаража...»

Но были у стрелков ВОХРа истинные минуты вдохновения. Основная охота начиналась у них за пять минут до сигнального звонка, возвещавшего начало рабочего дня, – сонные тетки просыпались, приосанивались, одергивали свои тужурки, поправляли свои пистолеты и, блестя глазами, готовились кричать на потный поток опаздывающих. Палаческие старички били копытами, гоняли языком во рту зубные протезы и дрожали от предвкушения.

Народ ломился через турникеты, толкали и подгоняли друг друга – все боялись опоздать. У опоздавших *отнимали пропуски*. На одну минуту можно было опоздать. На одну минуту добрая охрана закрывала глаза. Но две... Две уже нельзя. Пропуск отнимали и относили в Отдел кадров (как это теперь называется – Public relations – что ли?)

Отъем пропуска на Вахте – ужасная неприятность. Настроение испорчено на весь день – вызов к начальству, лишение премии, объяснительные записки. Ловкой объяснительной запиской об аварии на транспорте или сердечном приступе у близкого родственника можно было происшествие как-то сгладить. Существовало бесчисленное множество этих объяснительных записок. Маленькие правила игры.

И в Отделе кадров все всё понимали – тоже ведь люди всё-таки – и, быстро пробежав глазами слова правильного раскаяния, удовлетворённо выбрасывали эти объяснения в мусорную корзину.

Но когда Конашенков принес свой листок, озаглавленный крупными буквами: **ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**, а дальше шел короткий текст – «*Объяснить своё опоздание не могу, потому что сам его не понимаю*», начальница Отдела кадров вдруг взорвалась таким криком, что перепуганные девочки-подчиненные побежали за водой и валидолом. Володя тарачил чистые глаза, прижимал ладонь к груди и клялся, что, действительно, сам не понимает, как так вышло, а если сам не понимает, то никому другому и объяснить не может.

«Умнее всех! Да? – кричала начальница, комкая возмущивший её листочек и, спохватываясь, снова расправляла наглую улику, – умнее всех хочешь быть?» Умнее всех – это нарушение, это не по правилам.

Я, со свойственным мне конформизмом, эти правила выполняла или обходила. Было даже весело изобретать всякие мелкие уловки.

На самом деле сквозь охрану было легко проникать, имея на руках всякие оправдательные бумажки – направление на флюорографию, бюллетень, местную командировку, увольнительную – в большинстве своём, как вы догадываетесь, поддельные.

Я долго хранила в сумочке одну справочку, по которой в любое время беспрепятственно входила и выходила из института. Но однажды, разворачивая эту справочку перед вялой охранницей, я косым зрением увидела у себя за спиной друга и коллегу Шурика Абрамова. И, как это часто бывает, в присутствии человека, хорошо меня знающего, я не смогла сыграть свою роль столь же убедительно, как играла всегда, что-то в моем лице неуверенное, по-видимому, промелькнуло. А они, эти охранники, эти простые люди, стоящие на страже, они ведь стихийные народные психологи, они моментально эту неуверенность засекают. И вот простая бдительная женщина берет в руки мой потрёпанный, истёршийся на сгибах, во всяком случае, очень несвежий листочек, нарочно медленно надевает круглые очки и, презрительно шевеля тонкими губами, пытается прочесть и постигнуть смысл документа.

На бумажке типографским способом значилось: СПРАВКА, далее шло ДАНА:, после двоеточия от руки было вписано: *Агеевой Людмиле Евгеньевне*. И всё. В конце большого пустого пространства, правда, стояла круглая печать и неразборчивая, естественно, подпись.

Всё время, пока вдумчивая охранница читала, Шурик с любопытством заглядывал ей через плечо. Прочитав несколько раз, бедная женщина взмокла от усилий, вернула ветхую ценность и меня пропустила, но поджав губы, всё-таки процедила в спину: «Ну чё хотят, то и делают».

Я спокойно подошла к лифту, нажала кнопку, а Шурик, который уже был старшим научным и имел *свободный вход*, гигантскими скачками промчался мимо меня вверх по лестнице. Открывая дверь лаборатории, я услышала начало его рассказа: «Слушайте, у Агеевой есть такая потрясающая справка...».

А всё очень просто. Это была справка по уходу за ребенком. Поскольку документ был не финансовым, то есть не оплачивался, легкомысленная и милая врачиха щедро выдала мне его незаполненным: «Ну вы там сами числа проставьте...» и спешно из квартиры моей порхнула, ей ведь тоже за время вызовов надо было заскочить в магазины, какие-нибудь очереди отстоять или за свет заплатить. Забот у нас было так много.

Государственный Оптический институт вышел из Университета, из кафедры оптики. Основал его академик Дмитрий Сергеевич Рождественский. Военные товарищи очень быстро сообразили, что всё, чем в этом институте занимаются, полезно для военных дел, и научные люди должны не только удовлетворять собственное любопытство за государственный счёт, но работать по указанию умного и дальновидного Правителя, который знал толк не только в языкознании, но и в точных науках. (К слову сказать, бестолковые математики не сразу поняли его упреки в формализме, утверждая, что наука их в принципе формальна).

Есть такая легенда : Берия в своем кабинете настойчиво уговаривает Дмитрия Сергеевича Рождественского заняться в своем институте чем-то военным и важным. Академик почему-то не хочет, отнекивается и злостно увильивает. И тогда Берия в самом дружественном порыве простирает к нему руки и обещает: «Мы вам орден дадим...». Неблагодарный академик вскакивает и очень невежливо вскрикивает: «Плевать я хотел на ваш орден!»

Легенда это или не легенда, но вскоре Дмитрий Сергеевич Рождественский кончает с собой, а созданный им институт разрастается до невероятных размеров и до сих пор, кажется, носит имя другого, но благодарного академика – Сергея Ивановича Вавилова, чей брат Николай Иванович, биолог, генетик и гордый человек, был так ужасно и ни за что (то есть, как ни за что – за высокую честь и научную порядочность – вот за что) загублен тем же самым Правителем, который всячески ласкал первого брата. Кстати, о генетике – незадолго до ареста Николай Иванович сказал кому-то: «К сожалению, сейчас идет отбор в науку людей без гена порядочности». Это он такой художественный образ использовал, ну нет такого гена, а образ есть. В некотором смысле – просто даже какой-то вечный образ получается. Не знаю, можно ли назвать сейчас наукой то, куда идет тщательный отбор людей без этого гена, но отбор идёт, это точно. На проходной Института химии силикатов у старенького профессора Мазурина недавно по приказу нового директора отобрали пропуск – велено не пускать этого «врага института» (ну что вы всполошились, ну не «враг народа» всё-таки) в его лабораторию, в которой несчастный проработал всю жизнь и даже, кажется, сам её и создал. Однако не будем отвлекаться на всякие отступления – трудно даже предположить, куда это может завести, например, в наш собственный сегодняшний институт, который стоит опустевший, разоренный и распроданный в сердце нашего родного Васильевского острова. Вернемся в прошлые времена, к Дмитрию Сергеевичу Рождественскому, которому, как это ни кощунственно звучит, просто повезло – его не арестовали на выходе из кабинета Берии и не его мучил следователь Хват, а ведь он нарушил самое Главное Правило Игры. Оно такое главное, что его даже не надо формулировать. Просто люди тогда еще не приобрели автоматизма в соблюдении этого Правила и не превозмогли в себе действие «гена порядочности». Им казалось, что перед Сильными Мира можно высоко держать голову и говорить то, что думаешь. Ан нет. Надо низко держать голову и думать то, что говорят.

А у других за многие годы практики автоматизм этот всё-таки возник и так въелся, что стал натурой, и даже не второй, а первой. И если президент Российского фонда культуры Никита Сергеевич Михалков со светыющимися глазами восклицает: «Я мечтаю любить власть. Мечтаю...», можно вздохнуть спокойно – эти люди хорошо усвоили Главное Правило Игры, так сказать, генетически, т.е. наиболее прочно. Простим лукавство Никите Сергеевичу – ведь мечта его давно сбылась. Ведь он уже... Уже любит. По правде говоря, это и мечтой-то никогда не было. Они всегда любили власть, неважно, что не одну и ту же.

Это же глупо – не любить власть или начальство, это нецелесообразно, потому что всегда невыгодно, а порой – очень опасно.

Реалистически беря, как говорит моя тёзка и любимая писательница Л.П., жизнь по понятиям в преступных сообществах или манеры в сообществах аристократических суть соблюдение тех же правил игры, которые могут быть поважнее законов, поскольку от них зависит каждодневное существование. Конечно, в разных слоях общества в определенное время действовали (и действуют) разные правила игры, и без них просто шагу нельзя было ступить, и находясь внутри слоя, человек очень скоро переставал заниматься анализом и расставлять эти понятия по степени их значимости или нелепости. Просто катила волна за волной, и надо было плыть. «Так положено», – говорили ему родители, потом учителя, потом начальники (ну родители и учителя тоже в некотором смысле – начальники).

А что касается абсурдности этих правил, то ведь к абсурду привыкаешь. И привычка делает этот абсурд переносимым, выталкивает его из поля логики.

Чтобы напечатать статью в любом научном журнале, нужно было пройти экспертную комиссию. В мои времена комиссия, конечно, уже давно не собиралась, и автор просто обегал членов комиссии с многостраничным «экспертным заключением», собирая их подписи. В аннотации, которую сочинял сам автор, аргументированно должно было быть доказано, что статья не содержит чего-либо нового или мало-мальски интересного с научной точки зрения, а иначе зарубят, не подпишут, заставят патентовать, подавать заявку на изобретение (а это всё страшная канитель и занудство) или печатать в закрытом журнале. А печататься в закрытом журнале не совсем прилично, там печатаются те, кто любыми путями набирает количество публикаций, делает карьеру, а потом защищается на закрытом Ученом совете. «В закрытой защите никаких открытий не может быть», – говорил Никита Алексеевич. Взгляд, конечно, снобистский, но верный.

И вот автор униженно доказывает особо подозрительным и придирчивым экспертам, что статья – ну самая ординарная, совершенно рутинная, вы только взгляните, абсолютно ничего важного, очень незначительная, практически барахло какое-то, подпишите, пожалуйста.

Самые умные члены комиссии не вникали в содержание, ну разве что глянут в конец статьи, если она имеет отношение к их занятиям, и без разговоров эту хренотень подписывали. Всё равно в каждом журнале есть рецензенты, они разберутся и при благосклонном решении напишут всё, само собой, наоборот, т.е. – «открывает новое направление», «практическое значение переоценить невозможно» – и т.д., и т.п.

Или вот еще. В ВАК после защиты нужно было направлять стенограмму заседания Ученого совета. (Подумать только, какие древние обычаи – магнитофонов не было, что ли.) Все это делает сам уже счастливый соискатель, ну если защита прошла благополучно. Неблагополучные защиты – редкость и скандал.

Вообще, активный научный человек многое делает сам, то есть сам себя раскручивает, пишет сам на себя отзывы, особенно на автореферат, сам подбирает оппонентов, сам себе придумывает выгодные вопросы для прикормленных членов Ученого совета. Ну я, конечно, немного сгущаю и обобщаю. Однако один академик мне рассказывал, как его даже в туалете Академии наук ловили шустрые членкоры, добивающиеся избрания в действительные.

(Почему-то хочется сделать отступление под таким, к примеру, названием: *Под лежащий камень вода не течёт*. Раз уж мы занялись литературой, то вот что рассказал опытный, но малоизвестный литератор, глядя мне в глаза с презрительным состраданием. «Ты наивна, как трава», – начал он и далее подробно описал, как нужно окучивать редакторов, издателей и рецензентов, как номинировать себя на разные премии в режиме мытья посторонней, влиятельной в литературном смысле руки своей собственной рукой в надежде на всем известную и традиционную обратную связь. О да, это меня поразило – прекрасная русская литература, это ... ну пусть высокопарно ... разговор с ангелами ... всё-таки. Три ха-ха, ответил мне на это опытный малоизвестный литератор. Чем писатели хуже твоих давних диссертантов, а также сегодняшних, почему это они не могут сами на себя рецензии писать – или друзей просить, или даже платить за это? Да и критики такие есть, петухи-трудоголики, натасканные (как собаки на наркотики) на отыскивание жемчужных зёрен в кучах известного чего и, даже не нашедши этих самых зёрен, нагло предьявляющие публике за определённое, естественно, вознаграждение от производителей куч тусклые камушки и крупинки неприятного химического состава, при этом восклицают хвалебности. Двести долларов, кажется, стоит эта не очень чистая работа, а если кто её за меньшую плату произвёл, за, допустим, бутылку Hennessy, то

нам его искренне жаль. А ты разве не писала всяческие «рыбы» для отзывов на автореферат? Ну ... диссертация, — запричитала я с дрожью в губах, — это же просто развернутое заявление о повышении зарплаты, и всё, и тут же вспомнила, что встретила я как-то во дворе Лешу Екимова, мы соседи с ним, и он признался, что долгие годы жил в своём ФИЗТЕХе с такой мыслью: «или победить, или умереть», а теперь вот нет у него такой мысли, всё стало как-то обыденно, теперь он иногда из Франции летит в Японию, даже не залетая в Россию, правда, отпуск проводит в своем домике на Кихах. Это я к тому, что и наука была для кого-то делом святым и единственным. Давно это было.)

Итак, стенографистка приносит расшифровку, но текст этот представляет несусветную белиберду, потому что техническая девушка совершенно не понимает физического смысла происходящего, вернее, уже происшедшего на Ученом совете, впрочем, и не должна. И вот отмучившийся счастливчик обрабатывает эту стенограмму с тайным и мстительным наслаждением. Основная часть, которую он заново воссоздает, это — вопросы и ответы. И вопрошающие с безумной лихостью изображаются полными недоумками, пощады нет никому: ни членкорам, ни академикам, не говоря уже о простых профессорах, а сам диссертант предстаёт мудрым, находчивым, терпеливо объясняющим заблуждающимся всю глупость и непрофессиональность их вопросов.

С младых, как говорится, ногтей мы сталкивались с этим абсурдом и привыкли особенно не тратить на него силы, время от времени внутренне хихикая. Вернувшись из Коктебеля, где Мария Степановна за мелкую плату давала на чердаке Дома поэта приют бедным студентам и разрешала особо аккуратным молодым варварам пользоваться библиотекой Максимилиана Александровича, я снова захотела почитать Волошина. Однако в Публичной библиотеке от меня потребовали документ, что стихи Волошина мне нужны для работы над дипломом. Я мигом эту бумагу сочинила, пробилась на приём к декану факультета (а факультет — физический), мы посмотрели друг другу в глаза, и он мне невозмутимо эту бумагу подписал.

Где Волошин, а где «Время жизни возбуждённых состояний твердотельных лазерных сред», я вас спрашиваю. Вот какой у нас был декан факультета.

Нарушение правил игры и проявление непривычных манер приводило иногда к неожиданным и, можно сказать, в некотором смысле даже положительным результатам.

Вы, безусловно, знаете, как должен вести себя человек в приёмной министра... Тут и объяснять нечего. Каждому понятно, как надо сидеть на диванчике и ждать, и какое лицо держать при этом. Некоторые вольности вроде подсовывания дорогих шоколадных конфет или французских духов капризулям-секретаршам дозволялись. Но вот приезжает в министерство наш странный профессор Адольф Капитоныч Яркинд (можно сообразить, в каком он году родился, ежели родители безбоязненно дали ему такое имя). Серетарша, не поднимая глаз от стрекочущей машинки, объясняет, что шеф вряд ли сегодня кого-нибудь примет, у него совещание, затянется надолго. «Ничего, — спокойно говорит Адольф Капитоныч, — я подожду», садится на кожаный диванчик, вынимает своё вязанье и начинает вязать. Заходящие время от времени в Приёмную серьёзные министерские люди вылупляют глаза, вопросительно смотрят на секретаршу, она пожимает плечами и вскоре куда-то удаляется. Простодушный Яркинд продолжает вязать и шевелит губами, считая петли. Вдруг дверь кабинета отворяется, сам улыбающийся министр выходит к нему и тут же, склонившись над столиком секретарши, все бумаги ему и подписывает. А подписав, любопытствовал (и среди министров бывают светские люди): «А что это вы вяжете?». «Да вот, свитер младшей дочери вяжу, старшей уже связал, так они

ссорятся: и младшей такой же надо. Я люблю вязать, – и, распахнув свой пиджак, Адольф Капитоныч гордо показал жилетку, – вот и себе связал...» Министр сказал: «Потрясающе...», пожал Яхкинду руку и, пятясь спиной, быстро скрылся в своём кабинете. Так что дело сладилось без французских духов. Некоторое время спустя директор института Гурий Тимофеич оказался рядом с Яхкиндом на каком-то министерском совещании и очень удивлялся, почему Адольф Капитоныч так интересуется, какой размер одежды у министра – пятьдесят второй или всё-таки пятьдесят четвертый, – и только услышав эту историю, наш директор изумился еще больше и, хоть и был хорошо владеющим собой администратором, всплеснул руками и воскликнул: «Неужели он свитер ему хотел связать?»

Еще один пример нарушения правил игры, именно правил, а не законов, которые – не побоимся повториться – задевают нас не так уж часто, тем более, известно, что, в частности, от российских дурных законов верное спасение – такое же дурное их исполнение, а также прическазка про дышло. Но этот пример как раз о возможности удачного нарушения чужих, заграничных правил игры, так сказать, устава чужого монастыря.

Моя бескорыстная (и по этой причине навсегда и абсолютно безденежная) подруга N оказалась в Нью-Йорке на репетиции спектакля знаменитого и обожаемого ею режиссёра и, будучи театральным фотографом, нащелкала несколько пленок. На следующую репетицию она принесла толстую пачку фотографий и выложила перед мэтром и его замечательными актерами, которые с восторженными детскими воплями фотографии эти вмиг расхватили и разбежались по углам любоваться своими изображениями. Режиссёр тоже благодарно заулыбался, вытащил чековую книжку и осведомился, сколько же он должен. «Ничего, – ответила гордая и нищая девушка, – мне просто хотелось сделать вам приятное». «Но вы потратили своё время, пленку и прочее. У нас это не принято...» «А у нас принято», – настаивала упрямая N, намекая на широту души тех, кто населяет её непонятную другим народам Родину.

Можете мне не верить, но не было у неё задней мысли, разве что эта – о широте души (я её знаю, эту непрактичную N). «О`кэй», – сказал режиссёр, спрятал чековую книжку и устроил N на постоянную работу.

Вообще говоря, неподчинение обычаям и правилам чужого монастыря требует определенной несгибаемости и очень часто – это важно – в сочетании с поразительной находчивостью, что само по себе, то есть именно такое сочетание – вещь редкая и встречающаяся преимущественно у людей (постараемся выразиться помягче) ленивых, что ли, но ленивых физически, как будто высокая скорость мыслительных реакций обеспечивается у них как раз состоянием полного покоя тела.

Таня Т. прожила несколько лет в заокеанской стране, читала там лекции о русской литературе, купила в кредит дом в уютном университетском городке, но за участком не ухаживала, траву не стригла, газонную красоту не поддерживала и на намёки соседей внимания не обращала. Тогда гуманные, терпеливые соседи подбросили ей на участок машинку для стрижки газонов (может быть, у неё финансовые затруднения и такой прибор не на что купить), но машинка как легла на бок, так и лежала в густой, высокой траве и кротко ржавела – никто ею не интересовался. Соседи выжидали, но ничего не дождавшись, сжалились над машинкой, которая так никому и не понадобилась, тихонько отволокли её назад и начали совещаться, что дальше-то делать. Долго собирались друг у друга по пятницам – хозяйки по очереди устраивали пати – и выбрали, наконец, делегацию. Делегация отправилась к Тане и всё

ей в лоб и высказала – так и так, дескать, надо стричь (хотя уже косить надо было, косить) – трава лезет на соседние участки, не известные в округе сорняки выплывают мерзкие семена на ухоженные полянки, всё это нарушает порядок и привычную взорам зелёную эстетику. Их было несколько человек, шесть или даже семь, они немного возбудились и, может быть, слегка повысили тон. Но не на таковскую напали. Наша Таня сама на кого угодно тон повысит, руки в боки и тон – повысит, будь ты хоть сам президент (чистая правда, потом расскажу). Но тут, вот что удивительно, Таня выслушала всех и каждого с терпеливой улыбкой и, когда они сами собой замолкли, потрясённые таким её невиданным самообладанием, вкрадчиво и спокойно объяснила, что религиозные убеждения не позволяют ей осуществлять насилие над травой – эгейнст май релиджен – растения, мол, такие же живые существа, жаль, если вы этого не понимаете, но вы поймёте. Притихшие американские провинциалы подавились своими претензиями, втянули головы в плечи, поджали губы, не нашлись, что возразить, да и не могли, потому как воспитаны были в глубочайшей толерантности к чужим религиозным убеждениям, беспомощно переглянулись и, лицемерно улыбаясь, удалились. Когда наш институт должен был принимать каких-то иностранных ученых, и заместитель директора в панике прибежал к директору с криками, что вести иностранцев в лабораторный корпус никак нельзя – там полная разруха и из стен растут грибы, – Гурий Тимофеич вспомнил эту Танину историю и посоветовал своему заместителю объяснить зарубежным коллегам, что у русских такие убеждения, почти религиозные, не трогать грибы, пусть растут там, где растут. Вот такой Таня передала нам опыт, потому что она не только смелая, бесстрашная, не боится никаких президентов, ни чужих, ни отечественных, но еще и находчивая, причем моментально находчивая. Хотя ... находчивость может быть только моментальной, я имею в виду – в разговоре. Немоментальная находчивость называется «остроумие на лестнице», возможно, даже на той самой лестнице, с которой остроумца только что спустили вниз.

Но чужой монастырь, следует заметить, территория опасная, и ухо надо держать остро. Слепое, бездумное копирование устава может привести еще к ещё худшим недоразумениям, чем легкое его неисполнение. Говорят, ректор Оксфорда господин Бауэр поехал перед войной к Гитлеру с миссией примирения. Встреча началась таким образом.

Гитлер: «Хайль Гитлер» (соответствующий характерный взмах руки).

Бауэр: (вежливо шаркает ножкой) «Хайль Бауэр!»

Никто не написал социологическое исследование на такую примерно тему: «Генезис и динамика правил игры на постсоветском пространстве в переходный период», а жаль. Ведь всё это происходило на наших глазах. В самом начале перестройки, когда появились талоны на мясо, сахар, масло и так далее, я набрела случайно на очередь за бесталонным мылом в «Пассаже» (давали по одному кусочку в руки) и, честно её отстояв, приблизилась, наконец, к прилавку. Ну тут энергично протиснулась передо мной молодая женщина, оказавшаяся многодетной матерью, что она и подтвердила предъявлением паспорта, и еще – она знала локальные правила игры или инструкции, или чьи-то распоряжения – лично ей полагался кусочек мыла и еще по одному кусочку на каждого ребёнка, причем без очереди. Гордо оглядев зашумевших малодетных тёток, женщина запихнула в сумку пять кусков мыла и отправилась, по-видимому, напрямик к

своим четырём чистюлям. Мне показалось почему-то логичным, чтобы мне дали два куска мыла, поскольку хоть у меня всего лишь один ребенок (вот, пожалуйста, паспорт), но этому ребенку тоже надо иногда вымыть ручки. Продавщица, однако, была непреклонна, логику мою не признала, молча швырнула мне сдачу – в тот же миг я перестала для неё существовать. «Какую логику можно требовать от коммунак», – загалдели за моей спиной, и, зажав в кулаке жалкий кусочек мыла (довольно, надо сказать, отвратительного), я, униженная нелогичными коммунаками, но утешенная либеральными единомышленниками из очереди, побрела восвояси.

Прошло совсем немного времени, поутихли восторги по поводу свободного выбора свободного народа, и вот я стою на кольце всех трамваев и троллейбусов, на пересечении улицы Кораблестроителей и улицы Наличной. Поздний вечер, промозглый осенний мрак, пронизывающий ветер с залива, на кольце скопилось довольно много темных пустых трамваев и таких же темных недвижимых троллейбусов. Ждем долго и безнадежно. Никаких признаков движения. Лишь уютно светятся вдали маленькие окошки их уродливой диспетчерской. «Козла забивают, суки», – зло говорит дядька и прячет лицо в воротник. «Да не..., – поправляет парень в короткой кожаной куртке, – сядня ж футбол, пока тайм не кончится...» Пожилая женщина обреченно покачивает головой: «Раньше хоть в партком можно было пожаловаться». Похоже, она готова сказать доброе слово о коммунаках. Сравнение как метод познания. Но не будем поддаваться, не позволим склонить нас к тривиальным решениям.

Странным образом устроена человеческая память, постоянно бросающаяся от несовершенного настоящего в давно совершённое и прошедшее. Что прошло, то будет мило – что ли. И кому-то мил в этих уплывших дебрях утраченный покой, а кому-то истаявший дружеский круг, нелепые иллюзии и обычное стремление молодости к справедливости и правде. Надо было просто соблюдать некоторые правила игры и необременительную осторожность. И соблюдая их, дальше можно было жить относительно спокойно (а как насчет души, уязвленной страданиями людей – ужасный, преступный конформизм... вот то-то и оно). Итак, дальше можно было жить спокойно, всё, однако, понимая, ну почти всё, во всяком случае, очень многое, и осторожно почитать самиздат или тамиздат, только его мы, кажется, и читали. (Что, конечно, дурно. Может быть, кто-то забыл историю про одну заботливую маму, по ночам перепечатающую на машинке «Войну и мир» для дочери, признающей и читающей исключительно самиздатовскую литературу.)

Но я читаю как раз *крайне неосторожно*, да ещё и в метро, «Технологию власти» Авторханова. Возвращаюсь с дачи – у нас очень далеко, на Вуоксе домик. Путь долгий и утомительный. Я в старых джинсах, в обтрепанной курточке, волосы покрыты пылью. Вид у меня, я думаю, незаметный и вполне неприглядный. Книгу мне дали на несколько дней – большое веzeнье, обычно давали на одну ночь. И я, вопреки обещанию не уносить из дому, увезла книгу на дачу. А что делать – картошку-то сажать надо и читать хочется. Рядом сидит молодой мужчина. Поглядывает – то ли на меня, то ли на книгу. Я, как могу, книгу прикрываю. Наконец, выхожу на «Василеостровской». Человек этот идет за мной. «Давайте, я вам помогу», – пытается вырвать у меня довольно тяжелый рюкзак. Яростно вцепляюсь в свою ношу и уверяю, что рюкзак совсем не тяжелый. На эскалаторе он стоит рядом, говорит непрерывно. Оказывается, разговорчивый гражданин работает фотографом в рекламном бюро, сейчас они рекламируют бриллианты. Считает, что я им очень подойду. Он долго рассматривал мой профиль и просто уверен: я то, что им нужно. Страстно начинаю его убеждать, что очень нефотогенична. Фотограф настойчив: «Не может быть. В любом случае

вашим детям останется хороший портрет». Наконец мы на поверхности. Толпа клубится и разделяет нас. Я, кажется, спаслась. Как бы не так. Слышу за спиной его дыхание, и вдруг он цепко берёт меня за локоть. С ужасом вырываюсь, бегу, расталкивая людей, по спине бьёт тяжеленный рюкзак, догоняю свой автобус. Сердце возвращается из пяток на своё место, но бешено kloкочет – то ли разорвётся, то ли, вообще, вот именно что – выскочит из груди. В заднее стекло автобуса вижу пристававшего ко мне молодого человека. Он стоит, чуть склонив к плечу голову, смотрит мне вслед. Выражение его лица мне непонятно.

Володя Конашёнок тоже ведёт себя вполне безоглядно и тоже – в метро, практически нарываясь, хотя...настоящего страха всё-таки уже нет, (пропустили разложившиеся органы момент, не успели вовремя пугнуть этих игривых мальчиков и девочек). Час пик. Вагон набит до отказа. Хорошенькая девушка стоит перед Конашёнком, уткнулась в какую-то книжку, он, любопытствуя, заглядывает ей через плечо и понимает, что девушка читает в метро «Архипелаг Гулаг». Володя начинает всячески хмыкать, качать головой и предупреждающе выпучивать глаза. Девушка, наконец, обращает на него внимание, поднимает спокойное личико, снисходительно улыбается, закладывает пальцем читаемое место и показывает заднюю обложку книги. И там, где обычно стоит цена, Конашёнок видит такую надпись: «Для служебного пользования».

Еще не вышло из употребления слово *совок* (но скоро выйдет, когда совсем уйдут эти люди, к которым можно его применить. В толковых словарях русского сленга рядом с ним поставят *устар.* Интересно, конечно, как будущие филологи сформулируют это понятие). А пока не ушли эти люди, среди них продолжают споры, кто всё-таки был совком, а кто нет, при этом спорщики пользуются, надо сказать, очень расплывчатым определением совковости, преимущественно чисто интуитивным. Совком считается обидно, всё равно, что дураком или зомби. И мера допустимого конформизма, не переходящего в самозомбирование, тоже определялась окружением. Где-то я прочитала у Маризтты Чудаковой: «Во всех личных архивах филологов, искусствоведов, историков были конспекты работ Сталина (Ленина) и следы натужного их осмысления, на которые уходили *драгоценные соки мозга*». Бедные, они старались найти там высокие мысли и оправдания своим занятиям, своим статьям, своим книгам и лекциям. Человеку так свойственно примиряться со своим временем, то есть – быть заодно с жестоким правопорядком. И Пастернак с Чуковским идут по ночной Москве и восхищаются Сталиным... Но человеку также свойственно не примиряться с существующим правопорядком, и противостояние наполняет его жизнь особым, возвышенным смыслом. Что только ни свойственно человеку... И остаётся поблагодарить филологических родственников, толкавших меня изо всех сил на физический факультет из соображений, как я понимала уже тогда, прежде всего гигиенических. Как-то сразу вдруг стало понятно вблизи циклотрона и спектрофотометра, что получать отличные оценки по «Истории КПСС» не очень прилично, а по квантовой механике – похвально. А потом, когда мы уже работали в разных научных институтах, в нашем кругу не принято было вступать в Партию. Миша Т., став в довольно молодом возрасте начальником лаборатории, на предложение пополнить ряды гордо ответил: «в нашем графском роду еще не было членов партии». Ну ему это впоследствии припомнили, конечно, но сказать-то он сказал, уже было можно. Один из наших прокололся и вступил, мы увидели его на трамвайной остановке, на площади Пушкина, у здания Биржи, подошли и вежливо поинтересовались: «Ну как ваш съезд?» (а в Москве шёл в то время двадцать какой-то съезд КПСС). Молодым людям это непонятно, а скоро вообще будет никому не понятно, что издевательское местоимение «ваш» означало полное отъединение, намек на отсутствие единства

между партией и народом, о чем кричали все лозунги на всех фасадах, то есть именно о единстве. Вступивший отступник глянул на нас затравленными глазами, не сказал ни слова, бедняга, и побежал ввинчиваться в какой-то случайный трамвай. А нам ничего за это не было, еще бы было – его тогда совсем бы со света сжили. Научным людям отступничество не прощалось (только в очень исключительных случаях), извилин этот шаг, естественно, не прибавлял и даже карьере не особенно способствовал, а уважения друзей очень часто лишал. Другое дело – люди гуманитарные.

В одном хорошем доме часто бывал успешный, бурно процветающий художник К., который, кстати, был так искренне и долго влюблен в собственную жену, что это переходило всякие границы приличия, многие даже сомневались: не разыгрывает ли он нас. Но нет. Я как-то оказалась с ним рядом за дружеским столом. Вместо того, чтобы ухаживать за мной, он не сводил глаз со своей жены, которая в нелепом фиолетовом тюрбане сидела как раз напротив и писклявым голоском чаровала двух физиков. Сжимая мою руку, художник восторженно шептал: «Взгляните, какое прекрасное у неё лицо». Я старалась, но никак не могла разделить его восхищения, тем более, что один из физиков был мой муж. Но чтобы не огорчать художника К., я фальшиво ему поддакивала и соглашалась, что ничего прекраснее мне в жизни видывать не приходилось. Благодарный, он кидал мне на тарелку последний кусок ветчины и пел: «Ах, как редко люди понимают истинную красоту». А жену его я помнила еще по университету. Она была такая долговязая, сутулая девица, училась на филфаке, но регулярно посещала наш факультет – мужское население было у нас перспективнее, а главное, многочисленнее. Но острое желание зацепиться в Ленинграде так ярко светилось в её провинциальных глазах, что осторожные физики дружно шарахались и не поддавались. Между прочим, сами физики с удовольствием заходили к филологам, мы там занимались немецким. Кто-то даже назвал филфак *труднопроходимым* факультетом. Действительно, не всем удавалось добраться до нашей аудитории, невозмутимо миновав ту самую площадку второго этажа, на которой дивные красавицы с длинными глазами и длинными ногами томно курили свои длинные сигареты. Долговязой сутулой девице трудно было с ними соперничать. Но...mit Geduld und Zeit kommt man weit, т.е. терпение и труд всё перетрут. В результате перетирания всех препятствий путем проникновения в партийные круги культуры (то есть вовремя плюнув на физиков) она получила художника ленинской тематики, надела фиолетовый тюрбан и восторжествовала над увядшими и одинокими столичными красотками. А ревность мужа доставляла ей истинное удовольствие. К слову сказать, с удачливыми соперниками художник К. боролся по-разному, иногда очень изобретательно. Например, подсаживался к избраннику, дружески хлопал его ладонью по колену и сокрушённо шептал: «Знаешь, почему Анка такая худющая? У неё ведь страшные глисты, самый большой называется солитер. Вот как ты думаешь, какой он длины?» Избранник в ужасе отшатывался, проливал остатки вина на фирменные брюки и через некоторое время из компании исчезал. И всё-таки художника ленинской тематики референтная группа принимала в свои придирчивые объятия, потому как он и не скрывал своего тонкого глумления над выбранной темой, был остроумен, забавен, а на упрёки в цинизме отвечал: «Да, я циник, но в лучшем смысле этого слова». Может ли человек с ироническим взглядом на мир и хорошим чувством юмора и называться совком? Вопрос.

А наша жизнь в старинных научных институтах была уж совсем частная, и происходящее в наших компаниях, наших семьях, а также наших сердцах и головах – что, в общем, одно и то же – было нам важнее всего. И это происходящее было столь интенсивно, ярко и всепоглощающе, что идиотизм далёкой

власти нас практически не задевал, те самые отвратительные руки власти до нас не дотягивались.

Легкий стыд, однако, смущает душу. Диссиденты тоже были в том далёком мире, где была и ненавистная нам жлобская власть. Оттуда к нам слетали и «Архипелаг Гулаг», и «В круге первом», а также «Крутой маршрут», «Хроника текущих событий» и всё такое прочее. Мы совершенно свободно передавали этот самиздат друг другу, не испытывая страха – нас было слишком много, и уследить за всеми было трудно. Тот знаменитый научный институт, в котором я работала, насчитывал вместе с филиалами около десяти тысяч сотрудников. Как тут уследишь. Стукачи, конечно, были, но уж очень, по-видимому, нерадивые. Женя Шибаров, например, открыто похвалялся, что напечатал тамиздатовскую книгу Аркадия Белинкова о Юрии Олеше в нашей лабораторной фотокомнате во время ленинского субботника – мы должны были оценить особое удовольствие, которое он при этом испытывал, то есть восхититься тем самым цинизмом в *лучшем смысле* этого слова.

Помню, в какой-то компании я читаю в сторонке тоненькую книжицу Солженицына «Жить не по лжи» и, внимательно обдумав все требования к желающему жить не по лжи (их, кажется, четырнадцать – т.е. не участвовать во всяких дурацких собраниях, не голосовать, понятно, за что, не вставать, не аплодировать...и т. д. и т.п.), вдруг понимаю, что я практически все эти требования без всяких усилий, одним нашим общим образом жизни выполняю и с восторгом кричу: «Я живу не по лжи!» И тогда присутствующий в комнате какой-то гуманитарный человек бросается на меня буквально с кулаками и даже потом, когда его уже оттащили и успокоили, из противоположного угла всё ещё продолжает что-то мне про меня и мне подобных объяснять в том пренебрежительном смысле, что, мол, нет ничего проще, чем сохранить невинность, если на неё никто не покушается. И вот что странно – мне не было обидно, и никому не было, а было смешно и жаль бедного человека, на невинность которого, видимо, кто-то сильно покусился, и не без успеха.

Почему я называю стыд *легким*. Потому что каждый может сделать выбор. И в нашей лабораторной частной жизни постепенно выросли просто здоровые люди. (Почти все были выпускниками каких-нибудь физико-математических школ, про которые один инспектирующий чиновник задумчиво сказал: «Опасно собирать вместе так много умных детей»). Должно быть, нас следует отнести к тем самым «образованцам», так сильно раздражившим Великого Обличителя. Странно, что, усвоив какие-никакие основы физики, он не признал важную закономерность – экономика, конечно, экономикой и нефть нефтью (т.е. цены на её барелли), но Правители ошиблись еще и потому, что опрометчиво вырастили собственными руками критическую массу мыслящих людей. К несчастью для Правителей, мысль живуча, как сорная трава. Только что её вырвали и выбросили или даже вывезли по воде далеко-далеко, но вот она снова заплонила огород и мощный чертополох опять покачивает своими упрямыми головками. Противостояние начинается с понимания, что есть зло. И с желания, чтобы это понимание и эти мысли разделили с тобой твои друзья. И с умения опознать зло, его поползновения и потуги, его обманные виражи и прямые угрозы. И назвать его словом, прозреть и истолковать. (Внук, рождённый с мышью в руке, притащил из Интернета однострочный стишок: «*Стреляй! Но знай – я это истолкую*»).

Итак, важнее всего были правила игры своего круга или, как давно уже принято говорить, своей референтной группы. Отродясь они были такими, то есть – непреложными, а случалось, что и вполне страшными, но – важнее всего

на свете, важнее жизни. Иначе зачем Михаил Юрьевич позволил убить себя Мартынову, зачем вышел на дуэль, дикость такая, почему нарушил законы не только государственные, но и Божеские – двойное убийство (если можно говорить о каком-либо удвоении в этом жутком случае), ведь грех, как ни крути, а каково будет бабушке над гробом его стоять, думал ли, – нет, наверное, не думал. (Да знаю я это слово на букву «Ч», я литературу читала классическую, только скоро рядом с ним тоже поставят – *устар.*)

А действительно, существует ли это слово в нашей жизни, можно ли привести примеры. Я совершенно серьёзно...Доброта, сострадание, чувство товарищества, даже раскаяние еще встречаются иногда, но *честь*...Похоже, давно уже вышло это понятие «за рамки повседневной бытовой культуры».

Со странным сладострастием пишут бывшие стукачи свои исповеди. Ну просто один за другим. Бьют себя в грудь, стеноют, но и оправдываются. «Да будет вам, – отмахивается всё им простивший читатель, – чего уж там... Хватит. Надоело уже...»

Помню разговор за столом на даче моего начальника и друга. Меня привез к нему на своей машине наш сотрудник и тоже друг Р. Сидим на веранде, за окном дивная весна, цветущий сад, нежная вечерняя заря, разговор заходит почему-то о норме стукачей, с удивлением узнаю, что на десять человек полагается один стукач. «Что же это такое, – замечаю я с глупым простодушием, произведя в уме детское вычисление, – у нас в лаборатории тридцать человек, значит у нас три стукача...?» Начальник и друг всплескивает руками, «забыл, совсем забыл», кидается к шкафчику и достает под восторженные возгласы гостей бутылку знаменитого в наших краях коньяка, подарок кавказского диссертанта, а потом незаметно манит меня пальчиком и вызывает с веранды в сад, и там, под цветущими яблонями, отчитывает: «Какая ты всё-таки неделикатная... ты с кем приехала?» Я клянусь, что ничего не понимаю, и он быстро рассказывает историю грехопадения нашего доброго Р. и рассказывает с сочувствием к Р., призывая меня понять, что нам элементарно повезло в подобную историю не попасть и нечем здесь особенно гордиться.

Однако представления о рудиментах чести у обыкновенного человека принимались во внимание самими органами. Мою давнюю знакомую они уговаривали доносить на иностранцев (а девушка эта очень нравилась почему-то именно зарубежным людям), приводя такой довод: «Ведь не на своих же...», и обещали вернуть ей сына, которого бывший муж, чех по национальности, ни за что не отдавал и держал в своей Чехии, и вообще, красивую жизнь обещали – с интуристовскими ресторанами и такими же шмотками. Девушка оказалась странной, отказалась и добавила: «Сына я и без вас верну». «Ну смотрите...», – сказали ей холодно и, сочтя её сумасшедшей, но не очень опасной, пропуск на выход ей всё-таки подписали. А сына она, действительно, вернула, то есть – похитила, заманив мужа с ребенком в Россию, в свою коммуналку, чтобы якобы слабая здоровьем, почти на ладан дышащая бабушка могла с мальчиком проститься. Пожалуй, вся эта история (несмотря на подписку о неразглашении, широко рассказываемая героиней, одно слово – сумасшедшая) чистая правда, поскольку никакой особенно красивой жизни у девушки ни тогда, ни потом не случилось, хотя иностранцы еще долго не давали ей проходу, практически за руки хватили прямо на улице.

Когда жизнь тиха и спокойна, правила игры тоже коснеют, твердеют и приобретают лишенную чувства юмора непреложность. Вообще, всяческая ирония хуже любого кислотного дождя для устоявшихся норм и манер. Чацкого, собственно, за что не принимает общество, а вот за это самое, за насмешки,

за кривлянье, за наблюдательность, за умные подкалывания, за несерьёзность, за иронию. За веселье. Осуждение следует незамедлительно.

Веселье всегда вызывало подозрение. Помню, наша славная компания любила в обеденный перерыв сдвигать столы в столовой (а столовая у нас была очень хорошая, дешёвая, вкусная, такой как бы закрытый ресторан, мы ведь всё-таки относились к ВПК), чтобы всем быть вместе, хохотать, болтать и говорить друг другу комплименты. Ну не нравилось это окружающим и обедающим другим сотрудникам, преимущественно серьёзным и мрачным, не нравились им наши моменты любви и веселья. Почему это им должно быть скучно, а нам отчего-то весело? И на нас пожаловались, и какая-то столовская тётка, мелкая распорядительница, пришла и запретила столы составлять, «чтобы это было в последний раз», хотя мы уверяли, что всегда всё возвращаем на место, расставляем стулья в прежнем порядке и самым тщательным образом убираем за собой посуду. «Всё, разговор окончен», – злобно выкрикнула тётка и отчалила.

О, с правилами игры нужно уметь работать (конечно, если эти правила хоть какое-то время не меняются). И наш химик и юрист-любитель Саня Жилин, как раз обладатель самого громкого и вызывающего смеха, от которого дрожали стекла в окнах и неодобрительно поджимали губки благовоспитанные тётеньки из КБ, перекладывает аккуратно свой щницель на чистую тарелочку, несет в кабинет директора столовой и очень почтительно просит в присутствии свидетелей, а их набилось в кабинет видимо-невидимо, произвести *контрольное взвешивание* (я и слов-то таких не знала). Понятливый директор столовой тут же вызвал по местному телефону злобную мелкую распорядительницу, и она прибежала незамедлительно, сладко и противно улыбаясь, отчитал её строго и по-отечески, с видимым трудом подбирая в нашем присутствии цензурные слова, и повелел оставить нас в покое и впредь быть умнее, словно предвидел этот неглупый человек, что через несколько лет Саня Жилин станет директором целого института, правда, ненадолго, пока не украдут платину, но про это как-нибудь потом. Так что с правилами игры можно бороться только с помощью других правил игры.

По-видимому, уже нужна такая наука. А пока – это только коротенькое феноменологическое описание.

Когда жизнь меняется достаточно внезапно и резко – войны, революции, захват заложников и прочий форсмажор, – старые правила игры сами собой отменяются, начинаются игры без правил, и некоторых игроков удаляют с поля, но не за нарушение правил (их ведь пока нет, действуют одни лишь инстинкты: хватательный, например, или – спасти детей), а как раз за попытку соблюдать правила старые – или уж так, ни за что, то есть их уносят на носилках с поля, поскольку двигаться и говорить они уже не могут – они погибли.

Двадцать лет никто не трогал мой домик на Вуоксе, фанерная дверка его была заперта на маленький, открывающийся гвоздем замочек, и только с началом перестройки (слово, которое ненавидит более восьмидесяти процентов страны) начались налеты и кражи, а потом затихли, когда появились в посёлке непонятные мордастые существа с золотыми цепями на шеях, скупившие хутора и земли вокруг. И перерезали они наши черничники и знакомые тропинки сетчатыми изгородями, и поставили над изгородями плакаты: «Стоять! Территория простреливается». Время идёт, и постепенно начинают тихие жители понимать новые правила игры, втягиваются и привыкают. И под бандитами жить можно. Иногда диву даёшься, на что только не соглашаются люди, лишь бы правила игры не менялись. Ну и что, что бандиты, а зато хлеб теперь в деревне каждый день и не виданные бабками напитки. А бандиты...пушай друг в друга стреляют, а мы-то им зачем, так вот тихонечко тут и проживём.

Немец напротив меня читает в метро свою немецкую газетку во время президентских выборов в России. На первой странице – фотография Путина и крупными буквами название статьи: «Sehnsucht nach Stabilität» (тоска по стабильности), а также мнения простых людей, преимущественно восторженные и полные желания дружить с новым правопорядком. «Мы не немцы какие-нибудь, чтобы гнаться за деньгами. Наша главная прибыль – в любви начальства, а главный убыток – в его неприязни». Так что три раза Ура! – дайте только срок (а могут и дать, у них не заржавеет), и образуется потихонечку постоянство новых правил игры, удивительно иной раз похожих на старые, что и требовалось подавляющему количеству населения.

Поскольку говорить о законе в России, как утверждает В.Ш., всегда было неловко, а по нынешним временам и вовсе смешно, захотелось вот поразмышлять о чем-нибудь более легковесном (так казалось поначалу), о каких-нибудь пустяковых ограничениях, вошедших в привычку, которые люди сами для себя придумали, чтобы жизнь их стала более организованной, разумной и приятной, о каких-нибудь мелочах – вроде книксена и умения пользоваться ножичком для рыбы – и в голову не могло прийти, что соблюдение некоторых правил игры (или, наоборот, несоблюдение) опасно для жизни, и никакой (т.е. *никакое*) минздрав об этом не предупреждает. Представлялось, что просто посудачим о противоречивой природе человека, которая в этих пустяках отразится, вот именно – как в капле воды. ...И тем не менее, тревожит душу один вопрос... «Звездный мир над нами» – это хорошо, это, действительно, удивительное чудо – он существует. А вот «нравственный закон внутри нас»? С ним-то как? Ведь просто в отчаянье приходишь порой. И кто такие эти – «мы», о ком говорил серьезный немец? Может быть, был такой закон когда-то, а потом исчез. Или, наоборот, появится лет через триста.

Ну что, будем надеяться?

ТОМ ОБИД НА ПУТИ К ОБЩЕЙ СКАЗКЕ

В уяснении

Я уже очень давно не верю во всё исцеляющую силу правды – если бы даже она каким-то чудом оказалась кому-то известной и выразимой во всей своей точности и полноте. Я думаю, даже самая нежная дружба и тем более – любовь в огромной степени основываются на всевозможных уклонениях от правды – на умении забывать, не замечать, умалчивать, перетолковывать, приукрашивать... В результате чего мы любим уже не реального человека, а собственный фантом, или, если угодно, конструкт, для постороннего глаза иной раз до оторопи не схожий с оригиналом, той песчинкой, на которую наше воображение наращивает собственную жемчужину, белую или черную.

А уж сколько-нибудь массовое единство тем более может стоять лишь на лжи, ибо только ложь бывает простой и общедоступной, истина же всегда сложна, аристократична, неисчерпаема, противоречива (там, где действительно ищут истину, – в науке, – там никогда не затихает борьба мнений и научных школ), а главное – истина во множестве своих аспектов отнюдь не воодушевляет... Это отчасти и неплохо, поскольку пессимисты всего только отравляют людям настроение, тогда как оптимисты ввергают их в катастрофы, но – всякое корпоративное согласие может стоять лишь на системе коллективных фантомов, а потому так называемая народная память неуклонно отвергает всё унижительное, храня исключительно возвышающие если уж и не совсем обманы, то, по крайней мере, очень тщательно отфильтрованные элементы правды. Подозреваю, что ни один народ не в состоянии принять всей правды о себе, не рассыпавшись на множество скептических индивидов.

Когда-то я вложил в уста герою своей «Исповеди еврея» грубоватые, но, по моему, довольно верные слова: «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья». Поэтому мечтать о том, что народы, однажды от всего сердца высказав «всю правду» друг о друге, после этого обнимутся и простят друг друга, утопично с самого начала: принять правду о себе для любого народа означало бы перестать быть народом – это относится и к русским, и к евреям, и к французам, и к зулусам. Да и физическим лицам каяться вслух не всегда уместно: некоторые талмудические мудрецы допускали существование даже таких вин, в которых и признаваться не следует, ибо простить их всё равно нельзя, а растравить обиды очень даже можно; мир же, считали они, более высокая ценность, чем правда (вернее, ее обнародование). Нет, каяться в совершенной гадости следует непременно, но вовсе не обязательно обнажать все подробности перед теми, кому ты причинил зло.

Александр Исаевич Солженицын в этом отношении отнюдь не талмудист, он считает, что к покаянию можно и подтолкнуть, всенародно и во всех подробностях напомнив обидчику (а также всем желающим), каких бед он натворил.

Я еще по поводу первого тома солженицынского бестселлера «Двести лет вместе» выразился в том смысле, что русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объяснить поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они могут сделать, – на время забыть друг о друге («Каленый клин», «Дружба народов», № 1, 2002). Однако было бы смешно надеяться, чтобы подобный конформистский лепет коснулся слуха истинного борца за правду: «Никогда я не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое основывалось бы на несправедном освещении прошлого». Ну, а если иного согласия не бывает – тем хуже для согласия.

Тем не менее, в первом томе «Двухсот лет» содержалось и несколько положений, которые в принципе способны заметно ослабить накал национальной обиды, по крайней мере, с еврейской стороны. Солженицын последовательно проводит ту мысль, что русское правительство причиняло евреям разные неприятности не потому, что бескорыстно их ненавидело, а потому, что так понимало государственные интересы. Это было и требование стандартизации («все пашут, и вы пашите», «все сидят на своем месте, и вы сидите»), и страх перед либерализацией, коммерциализацией, и опасение, что активное еврейское население обретет чрезмерные конкурентные преимущества при «неразбужденности» коренного населения», – всё это было пускай архаично, недалеко-видно, даже нелепо (что признает и сам Солженицын), но утопизм, глупость, нераспорядительность, даже корысть простить гораздо легче, чем беспричинную ненависть. Восприятие русско-еврейского конфликта в качестве чистого конфликта интересов позволило бы существенно снизить его напряжение, ибо действия конкурента вызывают всего лишь раздражение, досаду, злость, а святую ненависть вызывают только фантомы, рисующие соперника бескорыстным служителем Зла.

Убедительно говорит Солженицын и о полном отсутствии доказательств того, что погромы (происходившие, подчеркивает он, не собственно в России, а в основном на Украине и в Молдавии) организовывало царское правительство, – оно было только неумелым стеснителем, а не изощренным преследователем евреев, каким его сделала антиправительственная пропаганда, – здесь тоже есть некий шаг к консенсусу, тем более что в целом Солженицын правительство вовсе не оправдывает: или уж не держать империю, или отвечать за порядок в ней.

Правда, другой основной тезис первого тома гораздо более сомнителен – свои воззрения на русскую историю и на «выходы из нее» русские упустили в руки евреев: «Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям мы слили с их понятиями». Я уже писал, что эти самые понятия были вовсе не специфически еврейскими, но общелиберальными, и возникли они еще тогда, когда евреи носу не казали из своих местечек; однако перенесение внимания на *духовную* роль евреев кажется мне всё-таки несколько более безопасным в сравнении со стандартной антисемитской пропагандой, согласно которой евреи сокрушали устои гораздо более прямолинейным манером. Солженицын настаивает на том, что понять духовное доминирование евреев (или, что то же самое, духовную податливость русских) важнее, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию («раскачивали ее – мы все»), делал революцию или участвовал в большевистской власти.

Тем не менее, когда листаешь второй том «Двухсот лет», начинает складываться впечатление, что именно это автор и делает – подсчитывает, какой процент...

Но, может быть, я просто предубежден? Общественное мнение всегда живет фантомами, а не истинами, как эти истины ни понимать; невозможно, сообщив

миру какие-то факты, сместить его от фантома к правде, – можно создать разве что новый фантом. И фантом русско-еврейских отношений, созданный Солженицыным, как мне кажется, не улучшил их, а ухудшил. Я не имел возможности исследовать сколько-нибудь репрезентативную выборку, но практически все примеры, которые подбрасывала мне жизнь, отнюдь не свидетельствовали о том, что евреи и русские стали с большим сочувствием относиться к бедам друг друга и более критично к деяниям своих предков, да и к своим собственным.

Типичное мнение многих русских (далеко не «крайних»): Солженицын показал, что евреям жилось совсем не так плохо, как они изображают; по крайней мере, не им одним было плохо. Мнение более жестокое: Солженицын показал, что все меры против евреев были исключительно оборонительные.

Типичное мнение евреев (из самых мягких): Солженицын старался быть объективным, но натура свое взяла. Мнение более жестокое: он постарался выгородить своих, свалив причины всех еврейских бед на голову самих евреев, для чего он постарался отобрать о них всё самое скверное.

Беру первый попавшийся отклик на сайте «Центральный еврейский ресурс» – Ю.Окунев (Коннектикут), «Приведет ли книга Александра Солженицына к ослаблению антисемитизма?» Автор прежде всего припоминает, что никто не слышал никаких протестов Солженицына, «когда фашистская литература захлестнула улицы российских городов, никто не услышал его голос, когда генерал Макашов оправдывал юдофобство ссылками на классиков русской литературы». А затем восстает против самой идеи «выискивать виновных по национальному признаку»: «Мне отвратительны обвинения любого народа в коллективной вине, признание за каким-то народом, будь то русские или евреи, какого-то общего греха. Мне и в голову не придет такая глупость или подлость, как винить моих русских друзей во всех перечисленных выше преступлениях российских властителей и российской черни перед еврейским народом. Вот ведь в чем опасность солженицынской доктрины – она провоцирует выискивание черт врага в целом народе».

И вот итог: «Это – мощная попытка выдающегося русского писателя, претендующего на национальное духовное лидерство, придать антисемитизму новый импульс, возродить его утраченную после развала советской империи объединяющую функцию». Вот так. Ни больше и ни меньше.

«Полемика с ним в деталях абсолютно бессмысленна. Бессмысленна потому, что ложна и чрезвычайно опасна заложенная в книге Солженицына главная идея – призыв к признанию русскими и евреями своей доли греха, каковому, надо полагать, должно предшествовать мелочное выискивание недостатков сторон и взаимных обид. Ни к чему иному, как к углублению раскола и усилению антисемитизма, такой подход никогда не приводил и не приведет».

Вот еще наудачу отклик с того же сайта – уже на второй том: Г.Еремеев, «А.Солженицын о евреях: сомнительные рекомендации на зыбких основаниях» (материал подготовлен Московским бюро по правам человека). Солженицын обвиняется и в некорректном цитировании источников, и в поверхностном использовании статистики, и в недостаточном дифференцировании про- и антиреволюционных партий: «есть рухнувшая славная царская Россия, и есть все остальные вороги, независимо от их политического облика. Что там разбираться – большевики, кадеты...» Солженицын, по мнению Г.Еремеева, не делает никаких серьезных выводов из того, им же отмеченного факта, что евреи-большевики угнетали не только русских, но и других евреев. Однако главный объект критики – снова идея коллективной вины и коллективного покаяния: «Для Солженицына цифры – это только материал для нравственного учительства. Он призывает евреев принести

общенародное покаяние за содеянное зло, «морально отвечать за свое прошлое». Уже неоднократно писалось о том, что популярная ныне идея массового покаяния сомнительна и с теоретической, и с практической точек зрения. Народ – это всегда не есть что-то монолитное, но являет собой многообразие человеческих личностей. Какое-то единое, унифицированное покаяние здесь невозможно, поскольку индивидуальные личностные особенности обуславливают индивидуальные эмоциональные и интеллектуальные реакции, тем более, когда речь идет не о собственном грехе, а о грехе дедов и прадедов. Когда канцлер ФРГ становится на колени перед еврейским мемориалом и просит прощения, этот жест призван быть символическим отражением воли немецкого народа. – Призван, но соответствует ли он реальности? Несомненно, многие немцы испытывают ужас от содеянного их дедами, но многие входят и в «Национальный фронт» (объединяющий, по некоторым данным, полтора миллиона человек) и, обрив голову, шествуют колоннами по улицам Берлина. А в «покаявшейся» Европе опять жгут синагоги и оскверняют кладбища. Какова тогда «общенародная» практическая ценность поступка канцлера? И как должны поступать евреи в связи с грехами их дедов и прадедов? Выступить Шарону и покаяться от имени евреев всего мира? Или главному российскому раввину от лица российских евреев? Но ведь большинство молодых евреев имеет смутное представление о деятельности евреев – большевиков и чекистов. А если и имели бы – что, им всем выйти на площадь и, взявшись за руки, хором прочесть покаянный псалом? Вообще, религиозное понятие «покаяния» применяется к месту и не к месту, лишаясь своего истинного смысла. Речь может идти только о знании истории, индивидуальном внутреннем переживании этого знания, формировании соответствующего нравственного чувства и желания самому подобных поступков не совершать. А каким образом практически можно уловить преобладающие настроения в этом смысле? На основе индивидуальных выступлений. И вот тут совершенно непонятно, что, собственно, не нравится Солженицыну. Ведь в перечислении имен евреев-убийц он ссылается главным образом на еврейские же источники, которые аккуратно эти имена фиксируют, и без всякого восторга!

Приводя мнения евреев-противников большевизма, он обильно цитирует десятки книг, называя десятки имен современных авторов-евреев, которые не позволяют и себе, и всем нам забыть о том, что творилось в России. А кто, собственно, из нынешних евреев восторгается «подвигами» дедов-большевиков?»

Отыскать таких и в самом деле нелегко – по крайней мере, под знаменами Зюганова еврейские физиономии в глаза не бросаются. Может быть, это и следует считать материальным выражением некоего раскаяния? Или как?

В уяснении уяснений

Принимаясь за второй том солженицынских «Двухсот лет вместе», невольно оказываешься уже до такой степени переполненным опасениями и предвзятостями, что почти не разбираешь самого текста, а всё больше то угадываешь авторские намерения, то прикидываешь возможные последствия. Но что, если просто-напросто попробовать как можно более тщательно и бесхитростно вдумываться в буквальный смысл прочитываемых слов, стараясь понять его как можно более точно? Пытаясь со всей добросовестностью соответствовать названию вступительной главы – «В уяснении» – и стараясь

выделить важнейшие места, чтобы общий ход мысли был понятен и тем, кто по каким-то причинам не успел прочесть разбираемую книгу.

Первый вопрос – кого считать евреем? Солженицын начинает с определения ортодоксальных раввинов – еврей тот, кто рожден матерью-еврейкой или обращен в еврейство посредством определенной канонической процедуры (именуемой «гиюр», если кто еще не знает) – и тут же предостерегает от понимания этнической общности как *общности по крови*. Он упрекает даже Российскую Еврейскую Энциклопедию в «кровном» отборе персонажей: «Евреями считаются люди, родители которых или один из родителей которых был еврейского происхождения, независимо от его вероисповедания». Вот и в международной спортивной «маккабаде» участвовать могут только евреи, – «надо понимать, что и тут – по крови»? «Тогда зачем же так страстно и грозно укорять всех вокруг в «счете по крови»? Надо же отнестись зряче и к национализму собственному».

Последнее бесспорно. Однако что до составителей Еврейской Энциклопедии, то они же просто вынуждены руководствоваться какими-то отчетливыми наблюдаемыми признаками – невозможно ведь включать в энциклопедию только тех, кто связан с еврейством по туманному «духу». И насчет маккабады – если, скажем, устраивают вечеринку или футбольный матч члены какого-то землячества или выпускники какого-нибудь университета, – неужели это так оскорбительно для тех, кто закончил другой университет? Хотя нация, конечно, не то же самое, что корпорация, но ведь и наицивилизованнейшие национальные государства устраивают внутринациональные чемпионаты, на которые иностранцы не допускаются. Что ж, изолироваться можно лишь посредством государственных границ? А если границы разительно отличаются от ареала расселения, значит нельзя и наперегонки побегать среди соплеменников? Впрочем, аналогия снова не совсем точна: на внутринациональные чемпионаты попадают не по крови, а по подданству. Вместе с тем, чужаку обрести подданство цивилизованного государства ничуть не легче, чем принять гиюр и обратиться в стопроцентного еврея. Я абсолютно согласен, что ко всем разновидностям национализма надо относиться «зряче», а потому дифференцированно. Не следует ли из этого, что нужно различать национализм, так сказать, оборонительный, стремящийся удержать народ от растворения, и национализм, так сказать, наступательный, стремящийся, сознательно или бессознательно, растворить другой народ в себе? Да к тому же, есть ли уверенность, что именно организаторы маккабад страстно и грозно кого-то в чем-то укоряют? Вполне возможно, что они-то как раз считают определенные формы национализма столь же естественными для народа, как для индивида естественен и необходим инстинкт самосохранения. Евреи всё-таки тоже бывают разные, у них нет общей головы и единого голоса.

Солженицын здесь же цитирует и весьма авторитетные еврейские источники, совершенно не склонные к счету по крови. С одобрением – «эх, и нам бы так!» – приводит он слова известного израильского писателя Амоса Оза: «Быть евреем означает чувствовать: где бы ни преследовали и мучили еврея, – это преследуют и мучают тебя». И еще – его же: «Быть евреем означает участвовать в еврейском настоящем... в деяниях и достижениях евреев как евреев, и разделять ответственность за несправедливость, содеянную евреями как евреями (ответственность – не вину!)».

Мне-то до сих пор казалось, что ответственность и вина приблизительно одно и то же (примерно так же их толкует и словарь Ушакова), но Солженицыну различие, вероятно, представляется очевидным, он подчеркивает другое: «Вот такой подход мне кажется наиболее верным: принадлежность к народу определяется по *духу и сознанию*». То есть, насколько можно понять, по самоощущению. Однако на следующей странице он цитирует Сартра: «Еврей – это

человек, которого другие считают евреем». И в конце концов приходит к выводу: «Не сказать, чтоб ото всего выслушанного здесь стало нам четко-ясно».

Сделаться четко-ясно здесь не может в принципе, поскольку невозможно точно очертить границу размытого по своей природе множества. Иными словами, национальность человека характеризуется не одним, а многими и многими параметрами, – может быть, даже неограниченным их числом. И потому анкета о национальной принадлежности должна содержать не один вопрос, а чрезвычайно длинный (если не бесконечный) их список. «Кем ты ощущаешь себя сам?», «В каких ситуациях и до какой степени?», «Насколько эмоционально близкими ощущаешь героические и трагические эпизоды национальной истории?», «Какие именно, до какой степени и в какие минуты?», «Ощущаешь ли подобную близость к воодушевляющему вранью других народов?», «Каких именно, в каких ситуациях, до какой степени?», «Кем себя ощущали твои родители?», «Кем тебя ощущают окружающие?», «Если не все, то какая их часть, какая именно и в каких ситуациях?» – и так далее, и так далее, и так далее.

В результате среди человеческого множества претендентов на звание еврея выделится некое ядро счастливицков, которые окажутся евреями по всем пунктам, и периферия, куда попадут те, кто является евреем лишь по какой-то части признаков. При том, что даже и это их частичное еврейство будет не стабильным, а изменчивым во времени.

Могу пояснить на собственном скромном примере. Имея русскую маму и еврейского папу и воспитавшись в беспримесно русской среде, я лет до шестнадцати чувствовал себя стопроцентным русским, а еврейство свое ощущал как абсолютно нелепую метку, не имеющую решительно никакого отношения к моей сущности и только временами осложнявшую мою жизнь. И если бы в ту пору у меня была возможность ее смыть, я бы не сделал этого разве что в силу какой-то самому мне непонятной неловкости. Достижениями евреев я потихоньку начал интересоваться лишь в пику тем, кто меня время от времени унижал. Интересовался, интересовался и доинтересовался до того, что и впрямь сделался евреем: страдания евреев сегодня я ощущаю заметно более остро, чем страдания людей других национальностей.

Не считая, конечно, русских: когда их обижают, это задевает меня тоже заметно сильнее, чем этого требует общечеловеческая гуманность и справедливость.

А вот когда русские и евреи обижают друг друга, на чью сторону я тогда становлюсь, что я делаю, когда папа и мама ссорятся? Попеременно сочувствую тому, кому в данный миг больнее, горю от стыда за того, кто эту боль причиняет, – а потом стараюсь их помирить по мере своих мизерных силенок. Но уже не спешу объяснять, что мама у меня всё-таки русская, – надоело, спокойнее без затей называть себя евреем. Я думаю, многие русские евреи превратились в евреев из чувства собственного достоинства.

Однако испытываю ли я ответственность за грехи еврейского народа? Исключительно в том смысле, что глупости и подлости евреев меня раздражают сильнее. Мне – да, совестно за них. Еще больше, чем за русских. Но та ли это взыскуемая Солженицыным ответственность, не знаю. По крайней мере, терпеть за чужие, хотя бы и еврейские, грехи какое-то материальное наказание я не согласен. И что касается уроков прошлого – я тоже не очень понимаю, какие практические выводы из них я должен сделать. Солженицын весьма одобряет ту трактовку еврейской избранности, которую предлагает Н.Щаранский: избранность «приемлема только в одном плане – как повышенная моральная ответст-

венность». Но требует ли эта повышенная ответственность вмешиваться в российскую политику или, наоборот, избегать ее, чтобы не повторить ошибок дедов, я совершенно не представляю. Если изыскивать психологические корни современного еврейства в иудаизме (занятие более чем сомнительное), то можно найти в Вавилонском талмуде следующее наставление: «Кто может предотвратить грехи людей своего города, но не делает этого – виновен в грехах своего города. Если он может предотвратить грехи всего мира, но не делает этого – он виновен в грехах всего мира». Очень благородно. Жаль только, что, уничтожая один грех, мы слишком часто открываем дорогу десятку других, и никакая сила в мире не способна дать ответ, какое зло окажется наименьшим, – зло вмешательства или зло невмешательства.

Вмешиваться, если это приведет к улучшению жизни, и не вмешиваться, если это приведет к ухудшению, так, что ли? Но чтобы так поступать, требуется пророческий дар. Если понимать уроки Октября буквально, то нужно всегда стоять на стороне существующей власти, всегда больше страшиться потерять, чем надеяться приобрести – но тогда в 60-е – 80-е годы прошлого века следовало поддерживать советскую власть и осуждать еврейских диссидентов, которых Солженицын, наоборот, всячески приветствует (в свою очередь осуждая тех, кто боролся за отдельное право на выезд).

Его не смущает и то, что именно «евреи снова оказались... и истинным, и искренним ядром нововозникшей оппозиционной общественности», хотя Солженицын с большим сочувствием цитирует Стефана Цвейга, считавшего опасным, «чтобы евреи выступали *лидерами* какого бы то ни было политического или общественного движения». «Служить – пожалуйста, но лишь во втором, пятом, десятом ряду и ни в коем случае не в первом, не на видном месте. [Еврей] обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа». «Нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в политической жизни, но и во всех прочих областях».

«Какие высокие, замечательные, золотые слова, – и для евреев, и для неевреев, для всех людей, – подхватывает Солженицын. – Самоограничение – от чего оно не лечит!» Но если уж самоограничиваться, то не нужно и строить планы, как нам обустроить Россию, разве нет? Ответ на это дан, пожалуй, на стр. 23, где Солженицын присоединяется к той мысли Ренана, что удел народа Израиля быть *бродилом* для всего мира: «И по многим историческим примерам, и по общему живому ощущению, надо признать: это очень верно схвачено. Еще современнее скажем: катализатор. Катализатора в химической реакции и не должно присутствовать очень много».

Не должно... А сколько должно? Но смысл, в общем, ясен: к обновленческим движениям каждый новый еврей должен присоединяться со все большей и большей осторожностью. Если, конечно, речь не идет о борьбе с большевиками.

Вроде бы так? Когда речь идет о политике. Но как быть с самоограничением «во всех прочих областях»? Где борются не за власть, не за деньги, а за самореализацию, за реализацию своих дарований? – в науке, в искусстве? Ты ощущаешь (и демонстрируешь) талант математика, музыканта, поэта, но должен идти в шоферы или шахтеры, потому что евреев-математиков, музыкантов и поэтов и без тебя выше крыши? Или в ученые – музыканты – поэты идти всё-таки можно, только не нужно там работать в полную силу, чтобы, не приведи бог, не сделаться слишком яркой звездой? Цвейгу этот вопрос задавать уже поздно, но Солженицыну я бы со всей почтительностью его задал. Мне и в самом деле непонятно, как он трактует эти высокие, замечательные, золотые слова.

Этапы большого пути

В первой же посвященной реальным фактам главе «Двухсот лет вместе» – «В Февральскую революцию» – рухнуло неравенство евреев перед законом вместе с самим законом. Однако первый обзор тогдашних газет обходится без евреев: газеты «выступили с трубным гласом, менее всего задумываясь или ища жизненные государственные пути, но наперебой спеша поносить всё прошедшее. В невиданном размахе кадетская «Речь» призывала: отныне «вся русская жизнь должна быть перестроена с корня» (Тысячелетнюю жизнь! – почему уж так сразу «с корня»?). А «Биржевые ведомости» вышли с программой действий: «Рвать, рвать без жалости все сорные травы. Не надо смущаться тем, что среди них могу быть полезные растения, – лучше чище прополоть с неизбежными жертвами». (Да это март 17-го или 37-го?)», – замечания в скобках принадлежат Солженицыну.

И это были не подметные еврейские листки, а респектабельные русские СМИ! Впрочем, что я – ведь взгляды на свою историю и на выходы из нее русские усвоили от евреев. А потому все далее упоминающиеся идейные глупости и безумства «прогрессивного» толка можно без рассмотрения списать на еврейскую долю вины. Но что оказалось не скрытым, психологическим, а явным фактом, – евреи замелькали на общественной арене не в пример гуще прежнего, и даже, как «итожит Еврейская Энциклопедия, «евреи впервые в истории России заняли высокие посты в центральной и местной администрации»».

Но вот тут-то «на самых верхах, в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, незримо управлявшего страной в те месяцы, отличились два его лидера, Нахамкис-Стеклов и Гиммер-Суханов: в ночь с 1 на 2 марта продиктовали самодовольно слепому Временному правительству программу, заранее уничтожающую его власть на весь срок его существования».

«Этот Исполнительный Комитет – жестокое теневое правительство, лишившее либеральное Временное правительство всякой реальной власти, – но и, преступно, не взявшее власть прямо себе».

Преступно не взявшее власть... Но было ли это в его власти? Неужто взвихренная Русь и остервеневшая армия повиновались бы какому бы то ни было правительству, потребовавшему от них какой бы то ни было дисциплины? Масса жаждала мести, разгула, и всякий, кто потребовал бы от нее повиновения, превратился бы в ее врага – и был бы сметен. Совет, да и всякая другая политическая сила, могли выжить лишь в качестве оппозиции правительству. У них был единственный выбор (не раз становившийся актуальным и в наши полтора десятилетия): или быть влиятельным дезорганизатором, или исчезнуть. Когда народ охвачен разрушительной страстью, можно ли представить, чтобы не нашлось самопровозглашенной инстанции, которая бы санкционировала эту страсть? И тем создала иллюзию обладания реальной силой.

«Потом оказалось, что был в ИК десяток солдат, вполне показных и придурковатых, держимых в стороне. Из трех десятков основных, реально действующих, – больше половины оказались еврей-социалисты. Были и русские, и кавказцы, и латыши, и поляки, – русских меньше четверти».

Для умеренного социалиста В.Станкевича, размышлявшего над этим обстоятельством, остался «открытым вопрос, кто более виноват – те инородцы, которые там были, или те русские, которых там не было, хотя могли бы быть».

«Для социалиста, это, может быть, и вина, – подводит итог Солженицын. – А по-доброму: вообще бы не погружаться в этот буйный грязный поток – ни нам, ни вам, ни им».

Но поток-то уже вырвался на волю, и трудно сомневаться, что главной причиной его осатанелости была война, та война, которую начало царское правительство – никак не проеврейское. И если уж раскладывать вину по долям (что в принципе невозможно из-за системного эффекта: действующие факторы срабатывают только вместе, по отдельности каждый из них бессилён), то придется оставить открытым и другой вопрос: кто нанес России больше вреда – ее враги или ее друзья?

«В ходе 1917»: слияние в экстазе; списки жертвователей на «Заем Свободы» поражают изобилием еврейских фамилий и отсутствием крупной русской буржуазии, не считая нескольких виднейших имен московского купечества; митинги: «И в ненависти, и в любви евреи слились с народной демократией России!»; возвращение из Соединенных Штатов сотен эмигрантов, включая Троцкого; предостережение благоразумного Винавера (ближайшего сподвижника Милюкова и невольного единомышленника Цвейга – Солженицына): «Нужна не только любовь к свободе, нужно также самообладание... Не надо нам соваться на почетные и видные места... Не торопитесь осуществлять наши права»; «внезапная, бывшая в глаза смена обличья тех лиц, кто начальствует или управляет»; всеобщий развал; надрывное обращение генерала Корнилова – и ответное хихиканье Суханова...

«И дело тут не в национальном происхождении Суханова и других – а именно в безнациональном, в антирусском и антиконсервативном их настроении. Ведь и от Временного правительства, при его общероссийской государственной задаче и при вполне русском составе его, можно бы ждать, что оно хоть когда-то и в чем-то выразит русское мироощущение? Вот уж – насквозь ни в чем».

«За несколько первых месяцев после Февраля раздражение против евреев вспыхнуло именно в народе – и покатило по России широко, накапливаясь от месяца к месяцу».

«Уже в середине 1917 (в отличие от марта и апреля) возникла угроза от озлобленных обывателей или от пьяных солдат, – но несравненно тяжелей была угроза евреям от разрушающейся страны». А, следовательно, те евреи, что «раскачивали» Россию, либо не понимали что творят, либо не беспокоились о судьбе своих соплеменников – то есть действовали не как евреи.

«Во всё время революции самыми горячими защитниками идеи великодержавной России были наряду с великороссами – евреи». (С согласием приводимая цитата из Д.Пасманика.) Любопытно, не знал.

«И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство (хоть и под общим славным командованием Троцкого, с энергичными действиями молодого Григория Чудновского: и в аресте Временного правительства и в расправе с защитниками Зимнего дворца). Нам, в общем, правильно бросают: да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством? Да, верно: в 1917 году мы свою судьбу сварили сами, своей дурной головой, – начиная с февраля и включая октябрь-декабрь». Это «сами» сказано столь отчетливо и великодушно, что хочется и в ответ проявить великодушие: да нет, и мы, евреи, тоже наделали дел.

«На выборах в Учредительное собрание» более 80% еврейского населения России проголосовало «за сионистские партии». Не за большевиков. Более того, сомнительно, чтобы эти партии можно было считать такими уж «прогрессивными», модернизаторскими для России.

«Не попало в историю, что после «декрета о мире», но прежде «декрета о земле», была принята резолюция, объявляющая «делом чести местных советов

не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил». (Со стороны красно-светлых сил погромы не предполагались.)

«Даже и тут, на съезде рабочих и крестьянских депутатов, – в который раз еврейский вопрос опередил крестьянский». Что было крайне бестактно. За подобными вещами нужно следить очень внимательно.

«Это не новая тема: евреи в большевиках». Ох, не новая...

«Да, это были отщепенцы».

«И что ж – могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И – есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев, – вспоминать ли то исчадьё, которое от него произошло? На этот вопрос сомнения быть не должно: *помнить*. И помнить каждому народу *как своих*, некуда деться.

Да и нет, пожалуй, более яркого примера отщепенца, чем Ленин. Тем не менее: нельзя не признать Ленина русским. Да, ему отвратительна и омерзительна была русская древность, вся русская история, тем более православие; из русской литературы он, кажется, усвоил себе только Чернышевского, Салтыкова-Щедрина да баловался либеральностью Тургенева и общительностью Толстого. (Солженицын совершенно точно перечисляет малый джентльменский набор российского радикала – но где же там еврейские имена? – А.М.) <...> Но это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это *в нас* ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожить ее. Уж он ли не отщепенец? Тем не менее, он русский, и мы, русские, ответственны за него.

А отщепенцы евреи?»

Для иудаизма здесь нет вопроса: еврейская община никогда не должна отказываться от своих грешников. А для светского, так сказать, еврея? Помнить – да, зачем-то это нужно. Но платить чем-то реальным? Чем же, скажите! И чем должны платить русские за Ленина? Ответа нет снова. Ладно, будем читать дальше.

«10 октября 1917, заседание, принявшее решение о большевицком перевороте, – среди 12 участников Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Сокольников. Там же было избрано первое «Политбюро», с такой обещающей историей вперед, – и из 7 членов в нем все те же Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Сокольников. Никак не мало».

Уж это точно... Даже при восьмидесяти процентах просионистского электората.

«Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который нам был крайне опасен. <...> Овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников». (В.И. Ленин в пересказе С. Диманштейна, главы Еврейского Комиссариата при наркомате национальностей.) Интересно, не знал.

«Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко наряду с сочувствием евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весной 1919: «Среди большевиков много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает». Бестактность и самоуверенность – узнаю брата Васю... Кто как, а я в объективности Короленко сомневаться не могу. И этот урок – не быть бестактным и самоуверенным – я с

удовольствием вынес бы из книги Солженицына, если бы не усвоил его из всей своей предыдущей жизни. «О, как должен думать каждый человек, – восклицает Солженицын, – освещает он свою нацию лучиком добра или зашлепывает чернью зла». Что ж, если бы к прочим тормозам, удерживающим людей от низостей и безумств, прибавился и этот, наверно, было бы и в самом деле неплохо.

«А что – жертвы? Во множестве расстреливаемые и топимые целыми баржами, заложники и пленные: офицеры – были русские, дворяне – большей частью русские, священники – русские, земцы – русские, и пойманные в лесах крестьяне, не идущие в Красную армию, – русские. И та высокодуховная, анти-анти-семитская русская интеллигенция – теперь и она нашла свои подвалы и смертную судьбу. И если бы можно было сейчас восстановить, начиная с сентября 1918, именные списки расстрелянных и утопленных в первые годы советской власти и свести их в статистические таблицы, – мы были бы поражены, насколько в *этих* таблицах Революция не проявила бы своего интернационального характера – но антиславянский. (Как, впрочем, и грезил Маркс с Энгельсом.)»

Антиславянский характер революции... Утверждение очень ответственное – слишком уж легко оно трансформируется в излюбленный штамп кондовой антисемитской пропаганды – «геноцид русского народа». Где хоть какие-то доказательства, что большевики уничтожали людей по национальному признаку? Разумеется, они истребляли те слои, в которых видели опору прежнего режима, в которых усматривали возможность или признаки протеста, и поскольку в прежней элите и в ограбляемом крестьянстве преобладали славяне, то они чаще и попадали под пресловутый «карающий меч». Якобинцы тоже казнили большей частью французов – следует ли из этого, что Французская революция была антифранцузской?

Если уж предпринимать опасную затею исцелять межнациональные отношения правдой, в подобных, наиболее ответственных случаях необходимо использовать особо проверенную правду. Однако, повторяю, во всей книге нет даже попытки найти хоть какие-то доказательства того, что хоть какая-то статистически уловимая социальная группа преследовалась не потому, что большевистский режим видел в ней угрозу для себя, а потому, что в ней преобладали славяне. И если бы таковые доказательства существовали, я думаю, в увесистом томе им нашлось бы место, – значит их нет.

«Не будем гадать, в какой степени евреи-коммунисты могли сознательно мстить России, уничтожать, дробить именно всё русское», – но в книге на этот счет есть именно одни гадания. То есть, опять-таки, никаких доказательств, а подозрения – подозрения всё равно возбуждаются. Притом непонятно, насчет чего в точности. Если говорить об утопическом стремлении обновить всё сверху донизу, пальнуть в Святую Русь, – это стремление охватывало и романтических поэтов, и респектабельных господ из «Речи» и «Биржевых ведомостей» («Все перестраивать с корня», «Рвать без жалости все сорные травы, не смущаясь, что среди них могут оказаться и полезные растения»). Куда дальше этого могли бы зайти евреи?

Но, конечно, огромная часть их пошла служить Советам, чтобы просто не умереть с голоду, – равно как и множество русских, но не о них сейчас речь. Солженицын отвергает «объяснения извинительные»: «Идти на службу в ЧК – это никогда не *единственный выход*. Есть по крайней мере еще один – не идти, выстаивать». Ну в ЧК-то не могло попасть очень уж много народу, а вот чтобы умирать с голоду, но не идти в простую советскую канцелярию, – для этого нужна огромная идейность, которой требовать от обыкновенных людей, у которых нет никакого особенного «во имя» (да как раз «во имя» и могло привести

к большевикам)... Вернее, требовать-то можно, но когда, в какие времена люди этим требованиям соответствовали? Разве что в легендарные времена Спарты, Рима и Израиля... Хотя желать, чтобы люди не были людьми, а были какими-то гораздо более высокими существами, – наверно, это тоже высокое, хотя и опасное, как всё высокое, желание.

С этой точки зрения снисхождение к человеческому стремлению выживать, поступаясь принципами (которых у людей заурядных и вообще-то негусто, и, быть может, к счастью для мира: в эпохи «великих социальных экспериментов» он и выживает-то во многом благодаря тому, что основная масса людей остается беспринципной) – это снисхождение действительно «есть отречение от исторической ответственности».

«Да, много доводов – почему евреи пошли в большевики (а в Гражданской войне увидим и еще новые веские). Однако, если у русских евреев память об этом периоде останется в первую очередь *оправдательной*, – потерян, понижен будет уровень еврейского самопонимания.

...Однако приходится каждому народу морально отвечать за всё свое прошлое – и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой *осмыслить* – почему такое было допущено? в чем здесь *наша* ошибка? и возможно ли это опять?

В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовые шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом.

...Отвечать, как отвечаем же мы за членов нашей семьи».

А как мы отвечаем за членов нашей семьи? Стыдимся – больше никак. Нам стыдно за них *перед другими*. Но выше сказано, что отвечать евреям нужно не перед другими народами, следовательно, и каяться не перед русским народом, а перед собой и перед Богом. Перед Богом-то верующие евреи от имени всего еврейского народа каются регулярно в специальных молитвах: мы творили то-то и то-то, и перечисляют все мыслимые безобразия; светским евреям труднее: они должны *осмыслить* то, что, на мой взгляд, заведомо не по силам человеческому разуму.

«Возможно ли это опять?» Это, разумеется, невозможно, история вся состоит из неповторимых событий, если брать их во всей совокупности обстоятельств. Но когда мы станем перед новым историческим выбором, всё, что лично я после всех раздумий и изучений мог бы посоветовать и себе, и другим: не обольщаться, быть осторожнее, человеку не дано предвидеть будущее, то, что считают благом «умнейшие люди своего времени», завтра обернется несомненным злом и глупостью, граничащей с безумием. Однако и эта «агностическая формула» наверняка не понравится Александру Исаевичу – за нечто подобное он строго осуждает Галича, написавшего «А бойтесь единственно только того, кто скажет: “Я знаю, как надо!”»: «Но *как надо* – и учил нас Христос...»

И, тем не менее, из учения Христа люди делали самые противоположные выводы, им оправдывали и войны, и казни, и уничтожения целых культур, и – заодно уж – массовые избиения евреев, что Солженицыну несомненно известно. Мало кто подставлял ударившему другую щеку, больше обращали внимание на загадочную формулу «Не мир, но меч...» Боюсь, Солженицын лишь тогда сочтет евреев достаточно покаявшимися, когда они все до последнего жлоба примут ту интерпретацию христианства, которая представляется правильной лично ему. Такое складывается впечатление.

В Гражданскую войну и еврейство, и белое движение проявили крайнюю близорукость: евреи близоруко тянулись к тем, кто их реже убивал, а белые

близоруко отталкивали нейтральных или сочувствующих им евреев «из-за множественного участия *других* евреев на красной стороне», – руководствуясь излишне прямолинейным представлением о коллективной вине. Народное представление о коллективной вине воплощалось еще более бесхитростным образом – в виде массовых погромов: по различным оценкам, погибло от 70 до 180200 тысяч евреев, причем примерно 40% погромов приходилось на долю петлюровцев, 25% на долю разных украинских «батек», 17% на деникинцев и 8,5% на красных (редчайший случай, когда общую вину действительно удается разложить на «доли»).

Поражает автора «Двухсот лет» и близорукость «сквозь всю Гражданскую войну» недавних союзников России. Правда, такого рода близорукость проходит настолько неизменно сквозь всю человеческую историю, что не пора ли признать ее нормальным свойством человеческой природы? А если это так, то раскаяние в ней может быть только лицемерным: человек не может искренне раскаиваться в том, что у него всего два глаза и один нос. Хотя, может, и стоило бы.

«В эмиграции между двумя мировыми войнами» среди более 2 миллионов эмигрантов, тоже с превышением процентной нормы оказалось более 200 тысяч евреев», – одного этого было бы достаточно, чтобы не отождествлять коммунизм с еврейством, если бы народы жили фактами, а не фантомами. При этом евреи, к моему приятному удивлению, оказались самыми щедрыми благотворителями и для материальных, и для культурных нужд *русских* эмигрантов. К сожалению, распри между правыми и левыми продолжалась и на чужбине, и было бы странно, если бы там обошлось без активного участия евреев. Но, к счастью, для чужеземных устоев это серьезных последствий не имело, а потому и покаяния не требует.

А вот в чем конкретном провинились те оставшиеся в России евреи, кто развил невероятно бурную и успешную деятельность в администрации, в экономике, в госбезопасности, в обороне, в здравоохранении, в науке, в технике, в культуре, – вопрос более сложный. Вернее, с чекистами ясно: добывать уже и без того еле живую прежнюю элиту, наводить ужас на население – это мерзость и грех. Однако службу в армии Солженицын считает безгрешной, хотя армия тоже служит большевистскому режиму. Да и герои-разведчики, среди которых был ни с чем не сообразный процент евреев, безусловно крепили оборонную мощь большевистской России. Служить народу, одновременно укрепляя сатанинское государство, или ослаблять государство, одновременно ослабляя и народ, – это вопрос трагический, на который нет и не может быть универсального ответа: никто не может знать, какое зло в конце концов окажется наименьшим. И если Солженицыну кажется, что он знает ответ, он заблуждается.

Работать на будущее страны, не укрепляя одновременно и правящий режим, возможно разве что в просвещении, в искусстве... Но тогдашнее искусство (дозволенное!) в основном лишь укрепляло советские устои, в этом Солженицын безусловно прав. Однако есть ведь и у искусства свое собственное, внутреннее развитие, собственные цели, и имеет ли оно право им служить, игнорируя социальные ужасы, а то и прямо их лакируя, или оно должно непременно бичевать социальное зло, а если такой возможности нет, – замереть в ожидании, пока она появится, – это вопрос тоже трагический. Имел ли право Пушкин написать «Евгения Онегина», в котором нужно с увеличительным стеклом выискивать ужасы

крепостничества? Для меня ясно, что имел, – для Писарева это повод для презрения. Скажут, что Пушкин, в отличие, скажем, от Эйзенштейна, «не взвинчивал проклятий старой России», и это будет правда. Скажут, что Эйзенштейну далеко до Пушкина, – я и с этим соглашусь. Но многие и не согласятся с тем, что Пушкин имеет какие-то исключительные права, они потребуют их для всех художников.

А потом, не упускаем ли мы главное, – склонность человека считать нормальным то, с чем он сталкивается, входя в жизнь, что доказало свою неизменность и неотвратимость, – как смерть, например. Должен ли каяться какой-нибудь ацтек, что спокойно жил в государстве, где приносились человеческие жертвы? Да что ацтек – великий Платон считал рабство совершенно естественным делом... Да, да, друг мне Платон, но – увя. Всегда ли человек способен возвыситься даже не храбростью – умом! – против устоявшегося, привычного зла?

Впрочем, если даже и не способен – почему бы не восстать и против самой человеческой природы? Начав, естественно, с евреев: это же для них избранность означает повышенную ответственность. Но... ведь готовность восставать против привычного, устоявшегося – именно то, в чем их обвиняют. Хорошо пророкам, которые точно знают, когда надо, а когда не надо раздувать протест, – но как быть людям обыкновенным?

«В лагерях ГУЛАГа» Солженицын, по его словам, впервые понял, что есть не только единое человечество, но и нации: в «спасительном корпусе *придурков*» были отчетливо сгущены евреи, грузины, армяне, азербайджанцы и отчасти кавказские горцы. «А русские “в своих собственных русских” лагерях опять последняя нация». Впрочем, кавказцы могли и ответно упрекнуть русских: не держите нас в вашем государстве, и мы освободим для вас тепленькие места банщиков и кладовщиков. А как с евреями? Ведь переплел русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется».

Тем не менее, о евреях, заявивших: «Не держите нас в вашем государстве», – Солженицын отзывается очень раздраженно: эти, мол, как всегда, о своем... Зато несколько известных ему евреев, добровольно пошедших на общие работы (в том числе знаменитый генетик Эфроимсон), вызывают его восхищение: это и есть «те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество».

Что ж, здесь вполне понятно, как в данном случае можно самоограничиваться и чем тут можно восхищаться. Но как это следует делать на воле, в творческих профессиях, убей бог, не понимаю. Человеку с талантом отказаться от его реализации почти равносильно смерти, это писателю Солженицыну должно быть хорошо известно. Или ради сближения наций и смерти не следует бояться? И во имя столь высокой цели следует жертвовать всем – кроме, разумеется, правды? В своем «Архипелаге» Солженицын перечислил имена орденосных руководителей БелБалтгулага – всех шестерых евреев – и вызвал, по его словам, всемирный шум: это антисемитизм! В лучшем случае – «национальный эгоизм».

«А где ж были их глаза в 1933, когда это впервые печаталось? Почему ж тогда не вознегодовали?»

Повторю, как лепил и большевикам: не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а – когда их делают».

Где были глаза Запада, для меня самого величайшая загадка; возможно, его духовные вожди боялись посадить пятнышко на свою любимую цацку – социализм. Но что до нашей стороны, то здесь, я думаю, было гораздо меньше стыда, чем опасения за практические последствия такой публикации, опасения, что она будет способствовать и усилению антисемитизма, и подведению под него оправдательной базы.

«Как будто художник способен забыть или пересоздать бывшее!» – восклицает Солженицын, и он совершенно прав: художник его склада не может. Перед нами снова типичный трагический конфликт двух одинаково справедливых принципов: «Говори правду!» и «Не навреди!»

Солженицын выбирает правду, как он ее видит. И я верю, что он видит ее именно такой.

«В войну с Германией» евреи, по выкладкам Солженицына, вполне пристойно соблюли процентную норму. Однако он не сдает без боя и то «расхожее представление», что «на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще». «Так что ж – народные представления той войны действительно продиктованы антисемитскими предубеждениями? <...> Можно предположить, что большую роль здесь играли новые внутриармейские диспропорции, восприятие которых на фронте было тем острее, чем ближе к смертной передовой». Действительно, цитирует Солженицын израильскую энциклопедию, «евреи составляли непропорционально большую часть старших офицеров главным образом потому, что среди них был гораздо более высокий процент людей с высшим образованием». Рядовой фронтовик, – продолжает Солженицын, – оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Но ведь всё перечисленное выше есть не что иное, как наложение профессиональной структуры общества на военные условия. А потому протест против более благоприятных условий евреев есть также не что иное, как всё тот же вечный протест против их места в системе разделения общественного труда. Протест, на который может быть только два ответа: или сдерживать профессиональный рост евреев искусственными средствами, или расти самим, самим становиться врачами, инженерами, интендантами, журналистами, актерами... Солженицын, оправдывая более чем понятные чувства рядовых на передовой, не замечает, что оправдывает этим и социальную зависть, которая в отношениях между людьми одной нации отнюдь не представляется ему чем-то достойным уважения. Но замечать за евреями то, что не замечается за своими, – не есть ли это как раз те самые антисемитские предубеждения?

Далее Солженицын пересказывает несколько историй как о сомнительных фронтовиках-евреях, так и об отчаянных смельчаках, завершив следующим образом: «Но на отдельных примерах – ни в ту, ни в другую сторону – ничего не строится».

Зачем тогда их и приводить в книге, претендующей высказать *значительную и достоверную* правду? Примеры лишь невольно оправдывают в глазах профанов ту убийственную для любой сколько-нибудь достоверной социальной истины манеру делать обобщающие выводы из всегда немногочисленных и тенденциозно, пускай и бессознательно, отобранных фактов личного опыта. Вот и сам Солженицын из единственного эпизода с каким-то безвестным Шулимом Деином, считавшим, что лучше бы евреям смотреть на драку немцев и русских со стороны, выводит целую теорию о «неполной заинтересованности» евреев в «этой стране». В обвинениях такого масштаба следует либо опираться на достоверную статистику, либо молчать.

Однако трудно не остановиться на загадочном финале Солженицына, завершающем рассказ о массовых убийствах евреев в немецком тылу. Солженицын опасается, как бы за гибелью евреев «не упустить же, и что была для русских та

война». И это справедливо: каждому погибшему была безразлична та тонкость, что от еврейского народа требовалось исчезнуть, а от русского – покориться. Но Солженицыну кажется, что «в этом накате еще одной Беды – поверх Гражданской и раскулачивания – он *почти исчерпал себя*». Что означают эти слова? Как может исчерпать себя народ? Но, если поверить в это, обида на всех его предполагаемых недоброжелателей удесятится.

Окончательно же глава завершается цитатами из еврейских авторов, утверждающих, что даже Холокост не дает евреям права на шовинизм и что борьба за права евреев не прогрессивнее борьбы за права других народов. «До такой достойной великодушной самокритичности, – восклицает Солженицын, – подниматься бы и русским умам в суждениях о российской истории XX века». И не скрывает «гложащей тревоги, что это, может быть, непоправимо».

«Не наказание ли то от Высшей Силы?»

Чего же всё-таки хочет Солженицын?

«С конца войны – до смерти Сталина» – у евреев, наконец, исчезла возможность быть палачами. «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на «космополитов», потеря позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского Антифашистского Комитета с расстрелом главных членов и «дело врачей».

«До шестидневной войны», еще задолго, произошла «историческая смена вахт» на советских верхах, с еврейской на русскую».

«Антисемитизм (цитирует Солженицын В.Богуславского из журнала «22», 1985, № 40) страшен не столько тем, что он *делает евреям* (ставя им известные ограничения), сколько тем, что он *делает с евреями*, – превращая их в невротичных, придавленных, закомплексованных, ущербных».

«На самом деле, – продолжает Солженицын, – от такого болезненного состояния – вполне, и быстро, и уверенно – оздоравлились те евреи, кто с полнотою осознал себя евреями».

«И при таком-то назревавшем самосознании советских евреев – грянула и тут же победно унеслась, это казалось чудом, Шестидневная война. Израиль – вознесся в их представлениях, они пробудились к душевному и кровному родству с ним».

«А многочисленные отказы в выезде привели к неудавшемуся 15 июня 1970 захвату самолета для угона. Последовавший «самолетный процесс» можно считать историческим рубежом в судьбе советского еврейства».

И – чрезвычайно важное замечание: «Работая над этой книгой, убеждаешься, что еврейский вопрос не только всегда и всюду в мировой истории присутствовал – но он никогда не был частно-национальным, как другие национальные вопросы, а – благодаря ли иудейской вере? – всегда вплетался в нечто *самое общее*».

Похоже, это действительно так: благодаря той самой досадной склонности евреев в раздражающем количестве становиться на сторону всего самого «прогрессивного», борьба с ними становилась неотделима от борьбы с «прогрессом», а борьба с «прогрессом» – от борьбы с ними.

«Когда ж это случилось, что евреи из надежной подпоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение?» – за что их теперь снова готовы проклясть те, кто пострадал от перестройки.

«А тут эта нарастающая кампания против «сионизма», уже вяжущая одну петлю с «империализмом». И – тем чужей и отвратительней представился евреям этот тупой большевизм, – да *откуда* он такой вообще взялся?»

«И теперь, отпадая, обратили против него свой фронт. И вот тут бы – с очищающим раскаянием – самим сказать о прежнем деятельном участии» в торжестве советского режима и сыгранной жестокой роли.

Нет, почти нет».

«У большинства евреев-комментаторов позднесоветского периода мы прочтем совсем не то. Оглядысь на всю даль от 1917 года, они увидели одни еврейские муки при этом режиме». Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев всегда выделяли как самый «ненадежный элемент» (Ф.Колкер, «22», 1983, № 31).

Это – с каким же беспамятством можно такое промолвить в 1983 году? *Всегда!* – и в 20-е годы! и в 30-е! – и как *самый ненадежный?!* Настолько всё забыть?»

«Но <...> не встает разве вопрос о каком-то чувстве ответственности за *тех*? В общем виде спрося: существует ли моральная ответственность – не круговая порука, а *ответственность – помнить и признавать?*»

Если требуется только это – помнить и признавать, – я помню и признаю. И тем более понимаю, что и евреи – всего только люди. Если бы кто-то из нас поклялся не повторять ошибок дедов, это было бы претензией на сверхчеловеческое ясновидение: могут сложиться обстоятельства – и ты снова наломаешь дров не лучше тех, над кем пытался возвыситься, – хоть над своими предками, хоть над чужими. И подобную самокритичность, мне кажется, могла бы усвоить даже народная память, вообще-то отвергающая всё унижительное: ведь честность по отношению к себе можно возвести в новое достоинство, и на нем-то снова утвердить свою гордость.

Но Солженицыну-то зачем нужно, чтобы евреи покаялись? Почему его так волнует «уровень еврейского самопонимания»? И вот на эти-то вопросы, похоже, дает ответ решающая глава: «Оборот обвинений на Россию».

«Разумеется, – как и вообще у всех людей и у всех наций, – нельзя было ждать, что при этой переоценке будут звучать сожаления о прежней вовлеченности. Но я *абсолютно не ожидал* такого перекося, что вместо хотя бы шевеления раскаяния, хотя бы душевного смущения – откол евреев от большевизма сопровождается гневным поворотом в сторону русского народа: это *русские* погубили демократию в России (то есть Февральскую), это *русские* виноваты, что с 1918 года держалась эта власть!

Мы – и конечно виноваты, еще бы!»

Но не мы одни, как следует из предыдущих четырехсот пятидесяти страниц. «Нет, вы одни!» – следует из приводимых ниже выписок из разных еврейских авторов, отобранных, не знаю уж, из большого или из малого числа им подобных. (Я выбираю лишь самые характерные и однозначно толкуемые.)

«Это тоталитарная страна... Таков выбор русского народа», – расстреливаемого тысячами и тысячами, не могу удержаться и я.

«Татарская стихия изнутри овладела душой православной Руси».

«В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души обязательно сидит погромщик... Сидит там так же раб и хулиган».

«Пусть все эти русские, украинцы... рыча в пьянке вместе со своими женами, жлѣкают водку и млеют от коммунистических блефов... без нас... Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы им дали Бога Авраама, Исаака и Якова».

«Заметим, – сетует Солженицын, – что любое гадкое суждение *вообще* о «русской душе», *вообще* о «русском характере» – ни у кого из цивилизованных людей не вызывает ни малейшего протеста, ни сомнения. Вопрос «сметь или не сметь судить о нациях в целом» – и не возникает».

Если это так, я человек нецивилизованный: вся эта мерзость вызывает у меня не только сильнейший протест, но и не просто сомнение, а даже и уверенность, что отнюдь не каждый русский, и даже *далеко-далеко-далеко* не каждый русский в глубине души погромщик, раб и хулиган, это просто ложь – и даже

хуже, если бессознательная: что же за картина мира у людей!.. И на что она способна подвинуть при удобном случае!..

Снова непонятно: кто причинил больше вреда еврейскому народу – его враги или эти мстители (к счастью, словесные), за его обиды? Пусть Солженицын примет мои слова как извинения от имени еврейского народа, который ни меня, ни кого-либо другого на это не уполномочил и уполномочить не мог за отсутствием технических средств, которые могли бы материализовать такую фикцию, как «глас народа».

Зато наконец понятно, почему Солженицын принялся за свой титанический труд над этой книгой – от обиды. И еще понятно, каких практических следствий он желал бы от еврейского покаяния: покаявшийся человек не склонен обвинять других. И это не только высоконравственно – побольше думать о собственных грехах и поменьше о чужих, – но и в высшей степени целесообразно: *чем больше русским будут давать понять, что они хуже прочих, тем чаще они будут отвечать: «А вы еще хуже!».*

И заодно уж ответу тем возмущающим и Солженицына умникам, которые выводят все российские бедствия из неких вечных свойств русского народа – из его пресловутого менталитета, традиций, протянувшихся аж до монголов, и тому подобной наукообразной дребедени. Никаких вечных народных качеств не существует – наиреспектабельнейшие скандинавские народы начинали как разбойники. Кроме того, совершенно невозможно – системный эффект – разделить, до какой степени сам человек или народ бывают виновны в своих бедах, а до какой их обстоятельства. Но если бы даже это было возможно, взваливать вину человека или народа полностью на его собственную голову до крайности непедагогично. Единственный урок, который они извлекут из подобных обличений, – обличитель их ненавидит. Ну а единственной реакцией на ненависть бывает сами знаете что. И на приязнь, на сострадание – тоже понятно.

Те, кто нес вышеприведенный бред, могут сказать, что они лишь отвечали оскорблениями на оскорбления, – но разве на ложь надо отвечать непременно тоже ложью? Ведь мы-то, евреи, претендуем на рациональность.

Солженицын очень проникновенно пишет о тех евреях, которые «пронялись» чувствами более объемными, нежели исключительно свои национальные обиды: «Какую надежду это вселяет на будущее!»

И каким же он видит это будущее?

Две последние главы – две (последние?) возможности: «Начало исхода» и «Об ассимиляции». Два эти выхода на самом деле между собою связаны: антисемитизм больше ранит тех, «кто действительно настойчиво пытается отождествить себя с русскими». В итоге наиболее острые стимулы уехать получают те, кто сильнее хочет остаться. Хотя возможно и то, что рост «брежневского» антисемитизма и рост самосознания евреев лишь «совпадение во времени». Однако Солженицын с явным сарказмом отзывается о готовности американского капитала помогать советскому правительству в обмен на право эмиграции «именно и только евреев». «Никакие ужасы, творимые Советами, не могли пронять Запад – лишь когда коснулось отдельно евреев...» – таков примерно ход его мысли. Однако все ужасы 37-го пали на голову евреев уж никак не меньше, чем на других. Скорее всего, западных евреев воодушевила борьба, на которую вдруг поднялись их восточные собратья. «Товаром стал дух еврейского мятежа» (В.Богуславский, «22», 1984, № 38).

Но готовность платить за дух – это же явно бескорыстный романтический порыв, однако романтик Солженицын почему-то пишет о нем без всякого энтузиазма. Зато вполне последовательно с презрением отзывается о тех, кто через пробитую брешь отправился напрямик в Америку за более «легкой» запад-

ной жизнью. «В чем духовное превосходство тех, кто решился на выезд из “страны рабов”?» – спрашивает он, и я недоумеваю: наверно, ни в чем; но откуда вообще взялся этот вопрос? Почему одни обыкновенные люди должны в чем-то превосходить других обыкновенных людей? Почему от евреев нужно ждать какой-то повышенной жертвенности? И разочаровываться, когда они ведут себя как не более чем люди?

Последняя глава, «Об ассимиляции», рисует, с одной стороны, картину мощнейших ассимиляционных процессов, с другой – содержит вереницу цитат, настаивающих на непрочности обретаемой евреями новой национальной идентичности. Итог? «Пока что ассимиляция явлена недостаточно убедительно. Все, кто предлагали пути ассимиляции *всеобщей*, – обанкротились. <...> Но отдельные яркие судьбы, но индивидуальные ассимилянты большой полноты – бывают. И мы в России – от души приветствуем их».

А как быть с ассимилянтами не столь большой полноты? Две любви, две страсти, два борения – слишком много для одной души, с этим, судя по всему, Солженицын согласен. И всё-таки рискну сказать, что присутствие в обществе людей с усложненной, противоречивой психикой может сделать его не только более эстетически богатым, но и более мобильным. Твердая, неколебимая, простая национальная идентичность вещь очень ценная, когда перед народом стоит историческая задача сохранить свою идентичность в *противостоянии* другим нациям. Но бывают эпохи, когда не менее важной исторической задачей становится задача *обновления* этой идентичности, задача отыскания себя в *сближении* с другими народами, – и тут-то традиционный патриотизм упрощенного, черно-белого типа может сделаться из достоинства опаснейшим препятствием.

Материальные интересы русских и евреев уже и в сегодняшней России практически совпадают: в неблагополучной стране даже и самые преуспевшие евреи будут всегда оставаться под дамокловым мечом социальной зависти, удесятеренной национальной неприязнью, а в России процветающей хватит места всем: 300 непрерывно сокращающихся тысяч еврейских душ не составят серьезной конкуренции. Но поскольку и социальная вражда, и социальное единство создаются в основном не материальными интересами, а какими-то злыми или добрыми сказками («общим запасом воодушевляющего вранья»), то нам, я думаю, и русским, и евреям, вполне по силам создать убедительную сказку о нашей общей трагической, но вместе с тем и прекрасной судьбе: наша совместная история дает более чем достаточно материала и для этого. Можно, разумеется, из нее вывести и другую сказку – что мы, например, посланы во испытание друг другу. Но можно также, не солгавши ни словом, сотворить многокрасочную историю о том, что мы рождены обогащать и усиливать друг друга, – будь я президентом, я бы непременно заказал такой лазоревый двухтомник: «Двести лет вместе»-2. Да, мы громоздили и совместные безумства, и совместные мерзости, но мы творили и совместные подвиги и созидали совместную красоту: история нашей общей жизни прекрасна и величественна. Ну а то, что чувство величия невозможно без примеси ужаса – эта истина из разряда азбучных.

МЕССИЯ, КОТОРОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ

Сбылась мечта Солженицына: его советы востребованы властью

В декабре минувшего года Александру Исаевичу исполнилось 85. Возраст патриарха. Время подведения поздних итогов, уже почти с надмирной высоты. Итоги эти противоречивы.

С одной стороны, Нобелевская премия, всемирная слава, благополучная с виду старость в подмосковной усадьбе в Троице-Лыково. С другой стороны, закат той самой славы, что светила в сто тысяч солнц четверть века назад, проблемы с репутацией, болезни. Весной Солженицыну, всю жизнь не любившему врачей, пришлось лечь на длительное обследование в ЦКБ – высокое давление, защемление позвоночного нерва. Осенью пришлось отбиваться от старых обвинений в стукачестве в лагерные годы. При всей деликатности данной темы следует признать, что своим обидчикам юбиляр врезал от души, прямо-таки с юношеским задором и яростью старого зека. В общем, имя его на слуху. А самое главное: сегодня он может чувствовать себя победителем, поскольку новая Россия двинулась по начертанному им пути.

Как закалялась сталь

Судьба писателя давно уже принадлежит к разряду мифов и легенд, сотворенных при его активном участии. Имею в виду книгу «Бодался теленок с дубом» и позднейшие мемуары, посвященные жизни в эмиграции – «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Это поразительные сочинения; мало кто в мировой литературе до такой степени был с читателем откровенен и так саморазоблачался, даже не догадываясь о том. Впрочем, и без этих книг жизнь Солженицына достойна самого пристального интереса. Хватает биографии.

Родившийся в Кисловодске в разгар гражданской войны, он с ранних лет обнаруживает тягу к литературе и истории, прежде всего к Первой мировой войне и февралю-октябрю 1917-го. Фантастическая деталь: глыба книг, которая к концу XX века станет «Красным колесом», задумана в юности – разумеется, с иным названием и другой идеологией. Однако замысел воплощен. Вавилонская башня построена и царапает небо.

Оглядываясь назад, вчуже жалеешь сгинувшую советскую власть: какую невосполнимую утрату понес социалистический реализм! Мальчик, воспитанный в советской школе и в советских вузах (физмат Ростовского университета, ИФЛИ), был верным коммунистом-ленинцем. При этом обладал свирепой работоспособностью, редкостным талантом, честолюбием, скрытностью, волей. С такими чертами он мог стать и великим физиком, и командармом, и генералом НКВД, и партийным вождем. Но более всего юношу тянуло к литературе, и это помогло

избежать иных, гибельных соблазнов. Вспоминая прошлое, писатель весьма строго судит себя и не скрывает: всяко могла сложиться судьба.

Потом был фронт. Боевой путь от Орла до Восточной Пруссии, звание капитана, выход из окружения, ордена. Арест за вольномыслие в подцензурных письмах, где красный офицер бесстрашно крыл пролетарскую литературу и Верховного Главнокомандующего. Восемь лет заключения и вечная ссылка: строительные работы в Москве, «шарашка» в подмосковном Марфине, Особлаг в Казахстане. Рак, еще в лагере, и чудесное избавление от болезни. Годы учительства в Кок-Тереке. Освобождение. Реабилитация.

Всё это общеизвестно, но оттого не менее впечатляет. В особенности рассказы его о том, как сочинял в лагере стихи и прозу, и заучивал их тысячами строк, не смея доверить бумаге, и как потом в ссылке прятал их и перепрятывал, и сжигал, и снова писал, заучивал, сжигал, прятал. Как тосковал по женщине и не мог ни с кем сойтись, боясь, что комсомолка выдаст его «органам». Как пережил предательство жены и снова вернулся к ней, выйдя на волю, чтобы годы спустя ее бросить и пережить наяву послелагерные кошмары: бывшая жена, мстя за измену, долго потом исповедовалась в КГБ...

В его судьбе и характере соединилось природное и обретенное в хождениях по мукам: литературный талант переплавился в сюжеты будущих книг, а душа обросла колючей проволокой. Ифлийский мальчик стал зеком: хитрым, осторожным, неулыбчивым, безжалостным. Зек оказался писателем: памятьвым, никому никогда ничего не простившим и с ясным ощущением великого предназначения – выкрикнуть правду о миллионах погибших в ленинско-сталинских лагерях. Вызвездить этой власти в лоб все ее преступления. Выразить себя не только в литературе, но и в истории. Годы одиноких, напряженных, невеселых размышлений о судьбах России уже тогда, в годы 50-е, выстроились у него в строгую концепцию прошлого и чаемого будущего страны. Он уже тогда догадался, отчего все беды.

Он знал, как обустроить Россию.

Советской власти крупно не повезло с Солженицыным. Только такой и мог, то из окопа, то поднимаясь в полный рост, драться с ней голыми руками. Уходить в подполье, прятаться в «укривищах» и вдруг являться на свет и бить наотмашь в морду – открытыми письмами, короткими прицельными заявлениями для печати, но более всего – книгами, которые тяжелыми бомбами взрывались на Западе и в самиздате. Бывший артиллерийский офицер Солженицын хорошо разбирался в этом деле.

От рассвета до заката

Читателям трех поколений ничего объяснять не надо, а правнукам не втолкуешь – кем был в годы 60-80-е прошлого века для нас автор «Архипелага». Каким потрясением для общества была его первая публикация – «Один день Ивана Денисовича» в ноябрьской книжке знаменитого журнала. Как жадно ловила каждое его слово советская читающая публика. Какую унылую оторопь, а потом и ненависть вызывало его имя у партийного начальства и у гэбешников. Какие вихри враждебные кружились над ним.

Для тех немногих, кто всю правду о «совке» знал и прежде, его проза и публицистика стали путеводными звездами в мрачноватом мире постсталинского СССР. А для большинства его книги и мужество в отстаивании своих убеждений, как и опыт довольно-таки одинокого противостояния власти, служили весьма впечатляющим воспитательным примером. И тут, конечно, важнее всего была мощь литературного дарования Солженицына.

В его прозе тех лет сплелись традиции русского критического реализма, оригинальный слог, смесь советского новояза с Далем и лагерной феней, и — что воздействовало на умы сильнее всего — талант пропагандиста. Или контр-пропагандиста, если угодно. Ибо Александр Исаевич был советским человеком до мозга костей и бил «большевицкую власть» из ее чрева и ее же оружием — догмой. Вывернутым наизнанку мифом о гуманизме единственно верного учения, из которого сыпались, как мертвецы из брюха людоеда, сожранные поколения советских людей. Он разговаривал с эпохой, начальством и гражданами на их языке. Разрушительный заряд всех его написанных в России книг был огромен. Ошалевшие вожди всерьез не могли с ним спорить, и не только в силу врожденного косноязычия. Ответов не было вообще, покуда Александр Исаевич громогласно, на весь мир рассказывал советскому народу о советской власти — про ГУЛАг и миллионы превращенных в лагерную пыль, про ссылку народов, про Лубянку и Кремль, про идеологических вертухаев хрущевского и брежневского призыва. С ним невозможно было вести успешную полемику, как ни напрягались «самые поворотливые из трупоедов» писательского союза, бывшая жена и дрессированные журналисты, кормившиеся из лубянского корыта. Его можно было только убить. Или выслать.

Солженицыну повезло и тут: дряхлеющие громыки из политбюро ЦК не решились ни посадить его, ни расстрелять, ни устроить автомобильную катастрофу. Лишение гражданства и изгнание из страны стало самым победоносным моментом его биографии. Ядерная держава проиграла ему по всем статьям, даровав писателю уже абсолютную творческую и личную свободу. Может, в тот февральский давний день 1974 года советская власть и кончилась, поагонизировав еще зачем-то семнадцать сумрачных лет. Жалеть, безусловно, не о чем.

Жаль, однако, что в тот день кончился и Солженицын.

Самоограничение дара

Собственно говоря, с Александром Исаевичем в эмиграции (а если быть точным, то за несколько лет до нее) не случилось ничего такого, чего бы не знала многострадальная история русской литературы. Русскому гению тесно в отведенном ему безбрежном небе великой славы. Ему надоедает грешная человеческая плоть — хочется поработать богом. Быть нравственным учителем современников не посредством художественных текстов, а впрямую, разъясняя непутевым гражданам, как следует жить, молиться, вести себя с ближними, чего кушать и куда вообще Россия должна идти. Он начинает «пасти народы», по меткому определению Анны Ахматовой.

Гоголь затевает трагикомическую переписку с друзьями и морит себя голодом. Лев Толстой создает новую религию, сильно опрощается, ругает Шекспира и пишет жалкие сказки для неведомых детей. Достоевский ведет свой «Дневник писателя» — грустную исповедь больного сердца, истерзанного антисемитскими видениями и политическими миражами.

Солженицын был тоже обречен пойти по этому пути: узреть истину и начать выдавать ее большими порциями городу и миру. И дело тут не только в характере и разнообразных чудесах личной и творческой биографии, заставивших его поверить в собственную исключительность. Дело в том, что определенная часть советского, да и западного общества сама увидела в нем пророка. От него ждали уже не книг, но Слова, не заявлений для печати, но божественного откровения, не творчества, но чудотворства.

Загнанный, затаенный зек, подпольный человек, он мечтал об этом полжизни. В лагере, в ссылке, в редакции знаменитого журнала, в краткий миг

знакомства с дорогим Никитой Сергеичем в номенклатурном коридоре, даже в лефортовской камере перед высылкой, где он тщето и всерьез ожидал почтительную делегацию вождей из политбюро. А ему было что сказать раскрывшим рот соотечественникам и глупым иностранцам. Волею судеб он стал последним (на сегодняшний день) Великим Писателем Земли Русской и отыграл эту трагикомическую роль по всем правилам искусства. До конца. Ни единой долькой не отступив от гибельного замысла.

Речь, как всегда, шла о правильном устройстве бытия на Земле.

Жить не по лжи. Советской власти, ударившись оземь, обратиться во власть теократическую, а советскому народу стройными толпами отправиться в церковь, где узреть Бога. Западу добровольно самоограничиться, отказавшись от бесовских соблазнов отвязанного рыночного общества и бездуховной свободы в пользу той же теократии. Истина одна, оттого нет людей вреднее, чем плюралисты. Ибо «убежденность человека, что он нашел правоту, – нормальное человеческое состояние... Сознание, что жизнью своей служишь воле Бога, – здоровое сознание всякого человека, понимающего Бога простым, отнюдь не гордостным сердцем.» Так писал Солженицын, обращаясь к народам и правительствам через головы «дерьмократов», и только очень наивный читатель мог предположить, что смиренный прозаик отнюдь не гордостным сердцем признает свою правоту – одной из многих. То есть согласен с плюралистами.

«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве... Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее... своих нравственных приговоров и верований.» А это, конечно, Достоевский, тягостный полусонный бред его подпольного героя, отбывающего каторжный срок за убийство старухи-процентщицы и ее кроткой сестры. Та самая душевная болезнь «бессмертной правоты», которой страдали многие русские гении, не избежал и Федор Михайлович, и в тяжелой форме хворает до сих пор Александр Исаевич. Болезнь фанатиков, вне зависимости от литературного дарования или политических убеждений. Недаром же про «Ленина в Цюрихе», самый антибольшевистский роман Солженицына, один из его давних знакомцев изумленно выдохнул: автопортрет!..

Но это полбеда, чьи портреты малюет взыскательный художник. Беда, когда картина не получается. С середины 70-х годов мы наблюдаем печальный и почти неуклонный процесс превращения замечательного писателя в скучного, неумного и неумного проповедника. Для Солженицына начинается время глухого вермонтского затворничества, одиноких творческих бдений в чужой стране, которая ему абсолютно чужда и даже противна. Как нынче Березовский в Лондоне, он со страстным вниманием следит за событиями, происходящими дома, все хуже разбираясь в них. Он много пишет, еще больше, чем в советские суетные времена. Работает по 18 часов в сутки, широкими мазками рисует свое «Красное колесо», напряженно связывая узлы... Он очень спешит. Он сочиняет скучные, тяжелые, неподъемные исторические книги, в которых верный его читатель с недоумением пытается узнать прежнего Солженицына, пробиваясь сквозь мертвый вычурный выдуманный словарь, и – едва узнает. Наступает пора самоограничения дара. После «Августа Четырнадцатого» в прозе – чуть не сплошь «пустая порода», как выразился один из его бывших почитателей.

Иное дело – публицистика. В хлестких и яростных статьях он по-прежнему интересен, поскольку там, где уже не хватает дара, берет злостью и страстью.

Но как же поменялись темы и персонажи его полемических произведений! Вместо писательского съезда и советских вождей это теперь Андрей Синявский и прочие плюралисты-правозащитники, которые Александру Исаевичу отвратнее чекистских следователей. Он спешит отмежеваться от «Демдвижа» (Демократического движения в СССР) и, как позже с грустью отметит в своих воспоминаниях, начинает терять самых близких друзей. Из тех, кто, рискуя свободой, если не жизнью, выводил его за руку из подполья к славе, перепечатывал и хранил романы, повести, «крохотки», «ГУЛаг». Зато сближается с теми – в эмиграции, а затем и в метрополии, – кого в жизни прежней должен был бояться и презирать. Типа Сергея Залыгина, благополучнейшего советского вельможи, подписанта гнусных антисолженицынских писем, в годы перестроечные – редактора «Нового мира» и новообращенного пропагандиста «Красного колеса». Но Александру Исаевичу это уже было неважно: кто прошлое помянет, тот против нас...

Головокружение от успехов у людей происходит по-разному, принимая самые причудливые формы. Но это всегда измена себе, своему предназначению, своему дару, который до конца не угадан. Солженицын был рожден писателем, причем «малых» и «средних» форм; даже «ГУЛаг» – это не циклопический роман об истории лагерей, а сборник блистательных рассказов о человеческих судьбах в тисках душераздирающей машины уничтожения. Какими бы ни были выстраданные убеждения писателя, ему дано было высказать их в строго отмеренной художественной форме, без притязаний на глобальные исторические обобщения и окончательный приговор. Оттого в лучших своих произведениях Солженицын – подлинный гуманист, пишущий в замечательных традициях русской классической прозы. Оттого в худших своих книгах он – почти бес-талантный обскурант, забывший в себе и художника, и Бога. Лишенный вкуса в наказание за измену родной словесности.

ВВП в конце тоннеля

Его возвращение на родину в маленковском френче под стрекот телекамер Би-Би-Си выглядело как злая автопародия. Его речи с телеэкрана были пусты и скоро приелись. Его новейшая публицистика была наотмашь, и всё – мимо. Его литературные портреты (Гроссман, Давид Самойлов) написаны слогом неряшливым, беглым, злым и лишь для одной цели – поквитаться с мертвыми, которые уже не могут ответить. Его нашумевший двухтомник «Двести лет вместе» – такая глупая, прости Господи, книга (хорошие евреи за Россию, плохие – против, а между ними суевающийся автор с призывами всем покаяться и раздающий полезным евреям пряники за добрые слова о русских, а вредным пинки за русофобию), что неловко и обсуждать. И только проза, «малая форма», вдруг вспыхивает еще иногда огоньками прежнего таланта («Абрикосовое варенье»).

Сегодня он живет на отшибе, мало интересный соотечественникам, которые за минувшие годы повидали уже столько гениев и пророков, что больше пока не нужно. Иногда, заскучав или возмущившись, он всё же создает «информационные поводы», и тогда граждане вновь говорят о нем. Когда Александр Исаевич, вспомнив о своей миссии писателя-гуманиста, вдруг возвышает голос в защиту смертной казни... Или вот, как в прошлом году, метелит журналиста Дейча и прочих клеветников, посягнувших на его доброе имя. Однако жизнь сбылась, и он редко отвлекается на детали.

Сбылось самое главное: его советы востребованы властью. Есть основания полагать, что жизнь в России, начиная с 1999 года, развивается в немалой степени по солженицынскому сценарию. Его идеи положены в основу нынешней

российской внутренней политики. А в Кремле сидит достойный его ученик, хотя встречаются они нечасто; официально – лишь один раз.

...Трехлетней давности спецсъемка запечатлела писателя и вождя, шествующих по коридору троице-лыковской усадьбы нобелевского лауреата. Заглянула камера и в кабинет Александра Исаевича. Там, на фоне богатой библиотеки, эти двое сидели за столом и бодро общались. Путин внимал Солженицыну.

Сюжет имел продолжение. В десятиминутном интервью, показанном тогда на госканале РТР, писатель выступил с содержательными воспоминаниями об исторической встрече. Он выглядел человеком счастливым. Ему очень понравился Владимир Владимирович. Чуть сбивчиво и весьма эмоционально он отметил почти полное совпадение личных посылных соображений и позиций государственных, изложенных Путиным. В одном хозяин и гость не сошлись: зачистку Совета Федерации Солженицын счел слишком мягкой. По его мнению, сенаторов нечего избирать, их должен назначать президент. «Ну не всё сразу», – должно быть, откликнулся Путин...

Автор «Ленина в Цюрихе» особо выделил у российского президента его «живой ум».

Отчего эти двое оказались так близки друг другу – догадаться легко. Путин с первого дня, едва был объявлен наследником, имел достаточно твердую программу: «подморозить» Россию, назвав это установлением порядка. Переделить собственность и укрепить личную власть, опираясь на силовые структуры. Придавить прессу. Бывшего зека такой сценарий давно уже не смущал. Ибо мировоззрение писателя с тех пор, как он внятно о нем заявил, не изменилось. Суть его – мягкий авторитаризм без коммунистов, основанный на идее национальной. Отсюда глубокая личная ненависть к космополитам-реформаторам гайдаровской эпохи, о чем Солженицын написал уже немало яростных строк. Следовательно: отмена итогов «грабительской приватизации». А еще неплохо бы пересмотреть границы с Украиной и Казахстаном. Легко догадаться, что в битве Путина с олигархами или вот с «хохлами на Тузле» – все симпатии писателя на стороне полковника КГБ. Сама по себе свобода слова, равно и профессиональная журналистика, зачищенная ныне почти до полного блеска, давно не являются для него определяющей ценностью, тем более для Путина. Жизнь юбиляра прошла очередной круг, в круге первом закольцевавшись с ранними его романтическими идеями, где ленинизм счастливо соединялся с патриотизмом. На выходе его ждал ВВП.

Кого Александр Исаевич разглядел в нем?

Перечитывая «Русский вопрос...», обнаруживаем характеристику идеального, по Солженицыну, государственного деятеля, нового Столыпина, столь необходимого России. Того, «кто б одновременно был: мудр, мужественен и бескорыстен». Вслушиваясь в похвалы, которые писатель нескучно раздавал президенту, узнаем про путинское «радение на пользу Отечества», а также про тот самый «живой ум», эвфемизм мудрости кремлевской... В солженицынских же текстах находим и «волю», о которой (с прибавкой «политическая», у писателя все больше о «человеческой») без устали говорит наследник, разъясняя свое видение общероссийских перспектив и необходимых для пользы дела решительных мер. Стремление «мочить в сортире», стилистически отличаясь от высказываний нобелевского лауреата, по сути им соответствует: войну в Чечне писатель

поддерживает, чеченцев осуждает, вычеркнув из памяти всё, что написал о них в «Архипелаге». Путин действительно лишь повторяет Солженицына на своем, доступном ему языке. Они — естественные союзники.

Речь не только об идеологии.

Чекист в Кремле нуждается в нравственной поддержке человека, которого в иные годы мог бы сопровождать в ФРГ в составе спецконвоя. Бывший диссидент радеет об осуществлении своего «единственно верного» футурологического проекта. Большое видится на расстоянии: с высоты своей славы, возраста, опыта, патриотического отчаяния Солженицын разглядел в невысоком президенте все то, чего сперва не разглядели «образованцы». А дальнейшие события лишь подтвердили его не гордостью правоту. Авторитаризм (правда, уже не мягкий) налицо. Православие крепчает, обретая статус государственной религии. Ползучий пересмотр итогов приватизации, чему дело Ходорковского — яркий до рези в глазах пример, сомнений не вызывает. Новейшая история России, с тех пор как в Кремле воцарился Путин, развивается по Солженицыну, и писателя вовсе не пугает, что во главе страны встал КГБ. Его патриотизм выше таких мелочей.

В чем Александр Исаевич безусловно прав: стремление к свободе вечно оборачивалось в России «торжеством порнографии», и на смену Февралю всегда приходил Октябрь. Однако же и путь государственно-патриотический вел в тот же тупик, где на каждого сознательного гражданина хватало колючей проволоки, дешевой колбасы и цензуры. У художника, к счастью, иногда оставался выбор, возможность неучастия в делах государственных, подальше от кремлей и царей. Но у Солженицына слишком велик общественный темперамент. Слишком страдана уверенность в собственной правоте. Слишком сильна фантомная боль, в которой причудливым образом соединились ненависть к тоталитаризму и надежда на полицейский режим, который спасет Россию.

«Волкодав прав, людоед нет», — в годы прежние эта нравственная максима означала для него совсем иное. Давить следовало погромную власть, которая начиналась в Кремле и на Лубянке. Сегодня, по Солженицыну, прав Путин. А в роли людоедов выступают его политические враги. На них идет охота, на серых хищников, матерых и щенков. Про них Александр Исаевич выражается порой и покруче наследника, вслух размышляя о «ликующих, хохочущих нуворишах и ворах, биржевых дельцах, затасканных журналистах...» Мочить их, что еще с ними делать? Не жалко. Но почему-то жаль Солженицына.

Если не дай Бог что, новый «ГУЛаг» напишет уже не он. И дело тут не в возрасте. Просто не напишет, и всё.

ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ПРОСИТСЯ НА ЛЮДИ

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ. «ПРОБУЖДЕНИЕ ВО СНЕ». Книга прозы. Предисловие Т. Бек. Санкт-Петербург, изд-во «Алетейя», 2004

Новая книга известного прозаика восхищает неожиданной новизной и свежестью. Неожиданность не в том, что проза такого класса вышла из-под пера этого автора, тут всё представляется как само собой разумеющееся. Речь о другом.

Владимир Порудоминский – писатель со сложившимся именем и репутацией. Его биографические книги, вышедшие в сериях ЖЗЛ и «Жизнь в искусстве», составляют круг исторических повествований о выдающихся людях русской культуры, науки, общественной мысли. Среди них – Пушкин, Гоголь, Даль, Лев Толстой, Пирогов, Гаршин, Пущин, Брюллов, Ге, Крамской, Ярошенко, Врубель. Он составитель и комментатор множества изданий русских классиков.

Нередко люди, взявшие за перо для написания биографического произведения, ставят перед собой простую цель: пересказать в беллетризованном виде факты и события из жизни выбранного персонажа, сдобрив бесхитростный пересказ кое-какими общепринятыми суждениями.

Книги Порудоминского изначально были л и т е р а т у р о й. И дело не только в строгом стилистическом изяществе его повествований, а в том изначально художественном взгляде, с каким воспринимал своих героев автор, и писательском мастерстве, с которым своё видение он передавал читателю. В итоге не биографический факт – у Порудоминского всегда точный и выверенный, – а эмоционально переживаемое действие завладевало душой читателя. И он, читатель, сам того не понимая, входил в круг, казалось бы, давно отшумевшей жизни. Объяснение этого феномена следует, на мой взгляд, искать не только в мастерстве и умении автора, не только в его художественном даре, но и в том мощном писательском потенциале, который не имел все-таки полнокровного выхода. Да, произведения о любимых героях писались с любовью. А неизбежные и постоянные размышления о жизни, об окружающем мире, переживаемые чувства оставались невостребованными. Они-то и наполняли исторические книги живой кровью! Фактически эти биографические повести и романы стали своего рода эмиграцией в другую культурную эпоху. Так в былые времена поэты «эмигрировали» в любовную лирику, что не избавляло их от проблем с блюстителями идеологической определенности, но жизнь в рамках советского литературного процесса облегчало. Как к этому относиться – дело каждого отдельно взятого индивидуума.

В последние годы Владимир Порудоминский обратился к собственному прозаическому творчеству. Проза эта чаще всего носит воспоминательный характер. Но, во-первых, читатель должен быть осторожен: автор часто балансирует на грани, где переплетаются реальные события и писательская фантазия, не говоря уже о сюжетах, которые можно отнести к ирреальности постмодернистских повествований, и в этом смысле Порудоминский – писатель очень современный. А, во-вторых, и это самое важное: мемуарная проза Владимира Порудоминского – необычайно полнокровна, выстроена по канонам художе-

ственного произведения. Именно мемуарная проза писателя раскрывает загадку абсолютного успеха его исторических книг.

«Я понимаю, что все, что пишу здесь, не объяснишь никакими особенностями замысла, требованиями хитро найденной формы и проч. Нет, это прошлое, память моя, «другая реальность», как я ее обозначаю, в которой провожу не меньше времени, чем в реальности настоящего, – это память переполняет меня, рвется вон, стремится лечь на бумагу – и таким образом пережить меня, оказаться в будущем, в котором мне уже не суждено быть...» – размышляет автор в мемуарной повести, давшей название книге «Пробуждение во сне». Это и так и, в то же время, не так. Сюжет воспоминаний определен ужасающей реальностью, историей страны, отраженной в истории семьи, уродствами большого террора. Были бы это дежурные «публицистические» проклятия режиму, чего бы они стоили в глазах читателя, особенно молодого, знакомого с этой историей по книгам и рассказам? Тем и сильны воспоминания писателя, что жизнь предстает в этих воспоминаниях разной, многоликой, что в них присутствуют детские радости и переживания, надежды и открытия, что наполнены они реальным светом и теплом, на фоне которых – тем ужасающе – пронизывается память болью, стыдом и гневом! И контрапунктом к звонким детским голосам уже звучит и потаенный шепот взрослых, и едва сдерживаемое рыдание. Ведь речь идет о времени, когда вчерашние общенародные герои вдруг объявлялись врагами народа, от имени которого тиран и его приспешники уничтожали сограждан, сгоняя их в лагеря и застенки.

Свободное движение памяти в повествовании Порудоминского условно. То в сюжет подмосковнодачного детства впишется разговор с давним и дорогим другом, писателем Натаном Эйдельманом, то собственный опыт телевизионного осмысления времени, предпринятого в совсем недавние времена, то рассказ о материнской, сибирской, ветви семьи. Прадед писателя, еврейский мальчик-кантонист, отслуживший двадцатипятилетний срок армейской службы во времена Крымской войны и получивший затем земельный надел в Сибири, а дед – уже купец первой гильдии. Сибирские еврейские общины пополнялись ссыльными, и туда, в глубину семейного предания, уходит повествование, чтобы «вынырнуть» вдруг уже в послевоенные времена. Какие фигуры всплывают в этом рассказе, захватившем временной отрезок в полтора столетия!

Вот Рваная Норка, человек без имени, уголовник-каторжанин, быстро сообразивший куда податься в новые советские времена. Дед когда-то пригнул его, взял в работники. Теперь отведена бывшему купцу каморка, а в доме верховодит человек с кличкой, возглавивший какое-то партийное учреждение.

«Однажды дед сказал ему: – Ничего, Рваная Норка, из вашей революции не выйдет. – Это почему же? – Рваная Норка, сидя в седле, горделиво смотрел на стоящего внизу старика. – Да потому, что дом-то теперь твой, ты – хозяин, а для тебя он всё одно чужой... Но пророчество деда заглядывало слишком далеко вперед. Пока вроде бы у них выходило.»

Интересно, что человек без имени, кажется, навсегда уйдет из повествования. И вдруг всплывает в других обстоятельствах: наступит день, когда деда арестуют. И неотвратимость беды ему самому станет очевидной, и бросит он следователю: «Запиши там, что я помер. И вам легче, и мне.» Однако приведут деда в другой, более начальственный кабинет, где восседает теперь веселящийся в этих обстоятельствах Рваная Норка: «– Здорово, хозяин?.. – Здравствуйте, Иван Акимыч. Кому я теперь хозяин? Я, вон, и самому себе не хозяин. – Гляди-ка, а ты, оказывается, меня по имени по отчеству знаешь!.. Значит, хозяин, все-таки наша взяла? – Чей черед, тот и берет... – Ладно, хозяин, погуляй пока на воле... увидишь, что дальше будет.»

И вот он, поворот истории.

«Дед прожил еще двадцать лет. Он умер в 1957-м, девяносто семи лет от роду. Незадолго до его смерти я оказался по газетным делам в Сибири и заехал повидаться с ним... — Ты бы растолковал. Что там у них к чему... Я постарался припомнить побольше подробностей из доклада Хрущева. Дед слушал, не перебивая. Сказал только: — Жалко, Рваная Норка не дожил.

Рваная Норка был расстрелян зимой 1937 года.»

Все «чеховские ружья» выстрелили вовремя. Порудоминский мастерски выстраивает свои вроде бы неприхотливо складывающиеся сюжеты.

Еще одна цитата:

«Дед молчал и в камере. Он вообще был не из болтливых, а, оказавшись здесь, положил для себя наперед, что жизнь на том и кончилась, — говорить сделалось не о чем. Он вспоминал прошлое, оно открывалось ему в ярких, осязаемых, манящих подробностях.»

Откуда эти «подробности», детали, размышления? Едва ли скупой на слова дед поведал свои переживания мальчику, глазами которого «увидел» прошлое писатель. Включилась правда человеческого переживания, ее художническое осмысление, и у нас не возникает никакого сомнения, что так оно и было, так ощущалось не самим рассказчиком, а его героем. Вот она, писательская «тайна» Порудоминского!

В книге, о которой идет речь, несколько разделов. Болевая тема многих рассказов Порудоминского — тема еврейства. И опять же — никакого кликушества, никаких сентенций. Только сжимается сердце от той почти бесхитростной, на первый взгляд, манеры повествования, за которой неискоренимая печаль, тоска по ушедшим, своим, близким, и чужим, трагедия которых под пером этого автора чужой быть не может. И как неожиданно перекликается тема Холокоста с темой антисемитизма послевоенных сталинских времен в шедевре писателя — рассказе «Похороны бабушки зимой 1953 года»!

«Он... дает в о з д у х эпохи, который гудит и поет в его прозе как живой...» — отмечает в своем замечательном предисловии к этой книге — к прискорбию недавно ушедшая от нас! — писательница Татьяна Бек.

«Память опять просится на люди...» — пишет Владимир Порудоминский. Наверно, на людях ей легче? И люди, человеки, переживая боль этих рассказов, этой «другой реальности» писателя, не могут не быть ему по-читательски, по-человечески благодарны.

Даниил Чкония

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДИСЛОВИЮ

Лариса ЩИГОЛЬ. «ВИД ИЗ ЧУЖОГО ОКНА». Книга стихов.

Предисловие Д. Чкония.

Санкт-Петербург. Изд-во «Алетейя». 2005

Стихи Ларисы Щиголь современны в лучшем смысле этого слова — экспрессивны, динамичны. Очень часто стихотворение представляет собой одно длинное предложение, развернутый период, что невозможно без сильного поэтического дыхания. В то же время она не уходит в «глубоко море», где «ты будешь свободен, как рыба, и нем, как рыба», и предпочитает этой свободе-немоте растворение в «глухом пруду родного языка». Воплощенная в стихотворении мысль — не констатирующая сентенция, она — образна, метафорична. Ирония Щиголь — далека от голого смехачества, которое стало почти модным в сегодняшнем — якобы — продвинутом стихотворстве, а всегда — переживание, боль,

трагедия. Да и может ли быть смехачество в мире, где «ворон скучает на каждом дубу»! Какое, поначалу кажется, легкое, игровое стихотворение «Остановка на Дахауэр-Штрассе». И вроде бы не должна известная песенка про «большую крокодилу» настраивать нас на тревожный лад? Но забрела крокодила на «коричневую» улицу Дахау – да простится мне и мгновенная ассоциация с «красным, советским» крокодиллом, сожравшим солнце (живую жизнь), из «детского» стихотворения Корнея Чуковского! – и в тоске умерла. Только боль и память не умрут никогда. Об этом стихи? И об этом, и о другом, что всколыхнет душу и разбудит мысль внимательного читателя. Вообще, ассоциативные ряды Ларисы Щиголь – не заговор эрудитов, они рождаются, как непосредственные реакции автора, и рассчитаны на ответное включение читателя: «Покуда на холмах покоилась мгла... («Кавказ»), «Я к Вам пишу – чего же бо?», «Быть знаменитым – кака...», «Гул затих – иссякли батарейки...»

В России жить нельзя. В Германии – не след.
Что ты Европе? Что тебе Европа?

Человеческая драма, разыгрывающаяся на географическом пространстве, ею всегда переживается в гораздо более широком, чем географическое, пространстве русской поэзии. Ибо русская поэзия – всегда прошлое и настоящее российской истории, печали и боли:

Полдневный жар в долине Дагестана.
Войска ведут тяжёлые бои.

Тем бережнее обращение к дорогим именам, пристрастнее ревность в любви к тем, кто воплощает для нее совесть и честь, выразительную мощь и объемность русской литературы. Тем трагичней отчаянье, с которым Щиголь заклинает: «О Смерть, отдай! – ведь у тебя так много!..» Словно силится преодолеть эту неодолимую силу:

Нас ждёт не менее чем рай
Забор, рябина и сарай,
И в тот переправляясь край,
Пред ними я покаюсь.
Но только ты не умирай,
Не умирай, не умирай,
Не умирай, не умирай,
Не умирай покамест!

Вся жизнь – напряженный диалог с Россией, с ее прошлыми и сегодняшними историческими реалиями, преображенными в русское поэтическое слово. Такая жизнь взыскует к предельной строгости и ответственности. Не об этом ли стихи?

Всех нас, грешных, влечет к чужеземным вершинам
(В посещении коих бывает и прок),
Но приходит просодия с русским аршином,
Чтоб проверить предложенный ею урок.

Ни развязности муз, ни намека улыбки,
И глаза не нежнее пространств над Невою
Знай, чернилами красными метит ошибки
Да качает безгрешной своей головой.

И находишь, что выделки стоит овчинка,
За которой и прячется небо без дна
Уж такая по виду она разночинка:
И бледна, и одна, и навеки дана.

Сказано исчерпывающе. А вот и еще:

Не тютя там глину формует,
Не солнышко жжёт, а глагол
И в тёплой Европе зимует
Неброская птичка – щегол.

Вслушиваясь в эти строки, мы, зимующие в теплой Европе, не можем не ощутить, с какой поэтической точностью переживаемая нами драма выражена в творчестве талантливой, щедро одаренной современницы.

Даниил Чкония

К сведению литераторов:

Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» успешно осуществляет свою издательскую серию «Русское зарубежье» (Коллекция поэзии и прозы). Тем, кто интересуется вопросами издания поэтических книг, художественной и мемуарной прозы, рекомендуем обращаться по телефону: 007-812-567-22-39, или по телефону представителя издательства в Германии Бориса Марковского: 05631-50-31-42.

Коротко об авторах

Людмила Агеева. – Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат Международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

Чингиз Айтматов. – Родился 12 декабря 1928 года в кишлаке Шекер в Киргизии. Окончил сельскохозяйственный институт. Печататься начал со студенческих лет. Внимание читающей публики привлек повестью «Джамиля», позднее повестями «Первый учитель», «Прощай Гюльсары!», широкой популярностью пользовались его произведения «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), «Плаха». Лауреат Ленинской и Государственной премий. В настоящее время живет в Брюсселе.

Владимир Берязев. – Родился в г. Прокопьевск в Кузбассе в 1959 году. Закончил Новосибирский институт народного хозяйства и Литературный институт им. Горького в Москве. Сопредседатель Ассоциации писателей Сибири, заместитель главного редактора журнала «Сибирские огни». Автор шести книг и множества поэтических и прозаических журнальных публикаций. Живёт в Новосибирске.

Бахыт Кенжеев. – Родился в 1950 в Чимкенте (южный Казахстан). С трёх лет жил в Москве. Закончил химический факультет МГУ. В 1982 г. эмигрировал в Канаду. Автор пяти романов, восьми поэтических книг и множества критических статей. Лауреат нескольких литературных премий. Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий и шведский языки. Живёт в Монреале.

Инна Лесовая. – Родилась и живёт в Киеве. Писательница, художница. Закончила факультет графики Московского полиграфического института. Автор около двадцати романов и повестей, широко печатается в периодике США, Израиля, России, Украины. Живописные работы были представлены на многих персональных и коллективных выставках, в том числе международных.

Александр Мелихов. – Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил механико-математический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Илья Мильштейн. – Журналист, политолог. Родился в Москве в 1960 г. Выпускник факультета журналистики МГУ. Работал в журналах «Огонек», «Новое время». В Германии с 1997 г. Лауреат премии журнала «Огонек» за лучший материал года. Живет в Мюнхене.

Александр Радашкевич. – Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, детство провёл в Уфе. В 1978 г эмигрировал, жил сначала в США, где работал в библиотеке Йельского университета, затем перебрался во Францию, работал в редакции журнала «Русская мысль», в 1991-97 гг. был личным секретарём великого князя Владимира Кирилловича, затем его семьи. С конца 70-х гг. широко печатался в эмигрантской периодике, с конца 80-х – в русской. Живёт в Париже.

Борис Хазанов. – Родился в 1928 г. в Ленинграде. Прозаик, эссеист переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Владимир Шубин. – Родился в 1949 г. в Карелии. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Много лет работал экскурсоводом по Ленинграду, затем в журнале «Искусство Ленинграда», Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Автор книги «Поэты пушкинского Петербурга», популярных работ и научных публикаций по истории литературы. Рассказы последних лет печатаются в русской и зарубежной периодике. В Германии с 1997 г. Живёт в Мюнхене.

Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Ольга Бешенковская
Борис Вайнблат
Сергей Викман

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Компьютерная верстка: В. Аввакумов, И. Гонопольская
Корректор: Р. Вайнблат

Подписано к печати 18.04.2005 г.

Адрес: “Partner“ Verlag,

Postfach 104219

44042 Dortmund, Germany

Tel: +49 \ 0231 \ 952 973 0(общий)

+49 \ 0231 \ 952 973 16(подписка)

e-mail: zz@partner-inform.de

Анонс:

В ближайших номерах журнала «**Зарубежные записки**» мы планируем опубликовать:

- **прозу** Александра Кабакова (Москва), Леонида Гиршовича (Германия), классика американской литературы Джеймса Болдуина, Александра Мелихова (Россия), Вальдемара Люфта (Германия), Владимира Порудоминского (Германия);
- **поэтические произведения** Александра Кушнера (Россия), Андрея Грицмана (США), Ольги Бешенковской (Германия), Сергея Бирюкова (Германия), Ильи Фаликова (Россия);
- **публицистику и эссеистику** Александра Мелихова (Россия), Бориса Хазанова (Германия), Александры Свиридовой (США), а также произведения многих других известных писателей.

